



**РУССКИЙ
ПУТЬ**
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Издается
с 2003 года

Зарегистрирован
Министерством
Российской Федерации
по делам печати,
телерадиовещания
и средств массовых
коммуникаций.
Свидетельство
о регистрации
ПИ № 77-17964
от 8 апреля 2004 г.

*Литературно-художественный,
общественно-политический
и научно-популярный журнал*

Учредитель и издатель:
общество с ограниченной ответственностью
«Редакция газеты «Губернские вести»

№ 2 (4)/2004

Главный редактор

Тираж бумажной версии 700 экземпляров.

Евгений ЧЕКАНОВ,
член Союза писателей России

Редакционная
коллегия:

Адрес редакции: 150000, г. Ярославль,
ул. Революционная, 28, 1-й этаж.
Телефоны редакции:
(0852) 72-74-52 (гл. редактор),
21-17-08 (отдел подготовки рукописей).
Редакция не вступает в переписку
с читателями, не рецензирует
и не возвращает присланные рукописи.
При перепечатке ссылка
на «Русский путь на рубеже веков»
обязательна.

Николай СМИРНОВ,
член Союза российских писателей;
Тамара ПИРОГОВА,
член Союза писателей России;
Любовь НОВИКОВА,
член Союза российских писателей;
Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО,
кандидат исторических наук.

К читателям журнала

Уважаемые читатели!

В 2004 году «Русский путь» изменил территорию своего распространения: теперь это - общероссийское издание, зарегистрированное в Москве. В связи с этим несколько изменилось название журнала, отныне он называется «Русский путь на рубеже веков». Часть тиража пойдет в другие регионы России.

Других изменений нет. Редакция и издатель - те же, наш адрес - тот же. Намерения и подходы - прежние, средства для издания есть. В нынешнем году журнал выйдет в свет четыре раза.

Ждем от читателей откликов, а от авторов - новых сочинений.

Редакция.

ПОЭЗИЯ

Любовь Новикова



Под крылом задумчивого снега

* * *

Да свою ли я судьбу прожила?
Своего ли я коснулась креста?
Если б душу мне отмыть добела,
Добела ее отмыть, дочиста!

Ничего-то у меня не сбылось.
Ни кола-то у меня, ни двора.
Кроме всклянь осеребрённых волос,
Никакого у меня серебра.

Призадумаясь - быть ли, не быть,
Как зачнешь свои копейки считать.
Хочет время проучить, приручить.
Хочет время мне хребет заломать.

Только зря оно заводит игру.
Ни к чему его бездарная месть.
Я и руки-то сложу - не умру.
Я и в землю-то уйду - буду здесь.

Никому я не доверю свой свет.
Он на тысячу веков только мой.
А за свой за несломимый хребет
Посеребрённой плачу головой.

Любовь Николаевна Новикова родилась в 1959 году в селе Надежда Ставропольского края. Окончив Ставропольский строительный техникум по специальности «техник-технолог», работала мастером, инженером по труду на Ярославском заводе стройконструкций, затем сотрудницей библиотеки Ярославского педагогического университета им. К.Ушинского. В 1988 году окончила Литературный институт им.Горького.

В настоящее время работает журналистом в областной газете, руководит литературным объединением «Третья пятница».

Стихи Л.Новиковой публиковались в ярославских и столичных коллективных сборниках, журналах «Звезда», «Наш современник», «Волга», «Русь», В Ярославле вышли в свет две ее книги - «Сирени цвет» (1988 г.) и «Лицом в ладони» (2000 г.). Член Союза российских писателей с 1993 года.

Живет в Ярославле.

© Любовь Новикова, 2004.

* * *

С волками жить. Но волком мне не быть.
Я - поперечь. Там, где вода, я - пламя.
Я научилась в стае говорить.
И волчий вой передавать словами.

Закон лесов поправшая опять,
Переборов миропорядок вечный,
Я научилась слабых защищать
И помогать увечным и калечным.

Но стая мстит. Ее закон суров.
Мне каждый куст расправою грозит.
Ведь в стае серых, загнанных волков
Давно слыву я белою волчицей.

Забросить в грязь, облить меня смолой!
Но в волчий цвет души не перекрасить.
Я говорю. Сквозь волчий визг и вой
Мне кажется, что мир со мной согласен.

* * *

У меня на все тяжелая рука.
Ох, тяжелая рука и черный глаз.
А в дому такая мертвая тоска,
Что повысохли цветы и свет погас.

Дождь молотит по стеклу который день.
Ну а мне - что дождь, что снег, не все ль равно!
На полу давно лежит больная тень.
Даже пылью вся покрылась - так давно.

Мне ее не шевельнуть, не ворохнуть.
Да и пользы в том, я знаю, никакой.
Тишина в дому такая - просто жуть.
И покой в дому такой - хоть волком вой.

А еще я научилась ворожить
Не на картах, а на собственных словах.
И теперь, когда я слышу слово «жить»,
К горлу медленно подкатывает страх.

Запорошено дождем мое окно.
Кончен бал. И голова моя бела.
Вот такое невеселое кино.
Вот такие полоумные дела.

* * *

О, золотая середина чуда!
Да правы ль мы, верша свой правый суд?
Ведь все-таки повесился Иуда,
А те, кто распинал Христа - живут.

Их совесть не сожгла огнем суровым,
Им кровь Христа не заслонила свет.
И он простил их - и рукой, и словом.
Они живут, а вот Иуды нет.

Я пристальнее вчитываюсь в повесть
Таинственных, мифических времен.
Выходит так, что если бы не совесть -
Он выжил бы, и тоже был прощен.

О, золотая середина чуда!
О мир, где нет святого ничего!
Клянут убийцы нехристя Иуду
За страшное раскаянье его.

* * *

Постою незаметно в сторонке.
Этот вечер мне больше не нужен.
На протершейся рыжей клеенке
Остывает нетронутый ужин.

В кухне радио сонно мурлычет
Про какие-то сны и разлуки.
Но душе моей пасмурной нынче
Никакие не надобны звуки.

У меня возникают сомненья
Относительно дня нашей встречи.
Разорвались холодные звенья
И теперь уже время не лечит.

Стало в доме спокойней и тише.
Да и нечего, в общем, итожить.
Все, что было - мне сделалось лишним.
Все, что будет - мне лишнее тоже.

Мне ведь надо не так уж и много
При последнем моем расставаньи -
Посидеть бы с тобой на дороге,
Помолчать бы с тобой на прощанье.

Ну а все остальное - не стоит!
Я смирю свою гордую душу.
Буду тени следить на обоях.
Буду сонное радио слушать.

* * *

Мне не хватило места на пиру.
И на дележ меня не пригласили.
Наверно, я пришлась не ко двору.
А может, просто про меня забыли.

И я живу в тени своих забот,
Не зная кто там в славе, кто там в моде.
Далеко где-то пир горой идет,
А до меня лишь слабый шум доходит.

Здесь, в тишине решетчатых страниц,
Я постигаю цену буквы каждой.
Затем я и живу, чтоб слушать птиц
И в жаркий полдень мучиться от жажды.

И думать, просыпаясь поутру,
Где хлеб и соль добыть на пропитанье...
Мне не хватило места на пиру.
Да я и не любитель пированья.

* * *

Вот и все. И навалились холода.
И не выйти на дорогу за село.
Стонут-воют за окошком провода.
Небо низкое дождем заволокло.

Бьется ветер в запотелое окно
И нигде ни огонька в глухой ночи.
Не ходи туда, родимый, там темно.
Лучше сядем, посидим да помолчим.

Уж какая ни на есть - не погублю.
Не приважу твое сердце колдовством.
Ты не бойся, я тебя не люблю.
Посижу да напою тебя чайком.

Ты же видишь - голова моя бела.
И забыла я, как плачут от любви.
Просто холодно и хочется тепла,
И устали руки сильные мои.

Я с тебя ни полсловечка не спрошу.
Даже взглядом я к тебе не прикоснусь.
Не спеша огонь в печи поворошу,
Отпечалюсь, отогреюсь, отдышусь.

И когда ты хлопнешь дверью и уйдешь,
Я не вздрогну и не выйду провожать.
Буду слушать, как в окошко бьется дождь,
Да стихи неторопливые писать.

* * *

Мои слова мне душу не облегчили.
Моя любовь уже почти прошла.
Мои следы, оставленные вечером,
Полуночная вьюга замела.

И тишина, тяжелая и грозная,
Раскинулась на дальнем берегу.
Ворона, как боярыня Морозова,
На белом запечалилась снегу -

С каким-то злым, с каким-то тайным умыслом...
Господь ее помилуй и спаси
За то, о чем она теперь задумалась,
Великая печальница Руси.

Здесь что ни год, то смута, да растление.
Здесь что ни храм - то Спаса на Крови.
Придавленные страхом унижения,
Молчат, молчат соотичи мои.

И тихо так, что слышу скрип обозы я.
Томятся на Москве колокола
И черная боярыня Морозова
Летит, раскинув вещие крыла.

* * *

Очки в оправе странной. Тишина.
И цвет геранный снежно облетает.
И лампы свет. И женщина одна.
Читает.

Снег за окном неслышный, словно сон.
Заиневшие ветки неподвижны.
А в комнате - будильный перестон
На полке книжной.

Но женщина тиха. Ей все равно,
Что время невозвратное струится.
Она лишь некрасиво морщит лоб,
Чуть улыбаясь бережным страницам.

Усталый взгляд скользит по нитям строк.
Блестят сединки, схваченные светом...
Ужель тебя не покарает Бог
За то, что ты живешь, забыв об этом!

* * *

Что мне вспомнить теперь, на исходе последней зари?
Море? Степь? И над степью - высокое синее небо?
Кто наплел небылиц? Кто мне сказочек наговорил,
Что не хлебом единым... Я так и решила - не хлебом.

О, наивность любви! О, доверчивость творческих мук!
Лишь вперед и назад. Да - и нет. Никакой середины.
Не бывало у Бога таких добросовестных слуг.
Кто б теперь мне сказал, научил, что не духом единым.

Кто б теперь меня вывел... Но пусто в просторах моих,
На сто верст - никого. Только гулкое знобкое эхо.
Даже звезд не видать. Даже снег почему-то затих.
Только в небе заря красноватым корежится смехом.

* * *

А на улице сегодня тает снег.
Тает снег. Журчат холодные ручьи.
В этом доме никогда не слышен смех.
Только охи, только шорохи в ночи.

В этом доме не по-здешнему живут.
Стороной обходят люди этот дом.
В этом доме даже двери не поют
И, вздыхая, открываются с трудом.

Только я хожу-брожу вокруг него,
Не спеша брожу, сторожко, словно вор.
Караулю, не увижу ли чего -
Хоть бы света, хоть бы взгляда из-за штор.

И о чем они там спорят-говорят?
Хоть бы слово мне какое разобрать.
Тает снег. Ручьи холодные журчат.
Это значит - повернулось время вспять.

И живет на белом свете черный дом,
Станный дом, не приютивший никого.
Даже солнце поднимается с трудом
Над железною над крышею его.

Только я вокруг него хожу-брожу.
То ли счастье, то ли горе сторожу.

* * *

От позорных столбов да могильных крестов
Затуманилась даль, не видать ничего.
Пригвоздите меня к одному из столбов.
Я достойна его.

Да чтоб страшно, чтоб кровью по каждой строке,
Чтобы криком давиться: «Помилуй, Господь!»
Я б сама. Да ломаются гвозди в руке
И противится плоть.

Заглушите же болью гордыню мою,
Разорвите на душные стоны ее -
Чтоб увидела я у себя на краю,
Как растоптанно корчится имя мое.

Пригвоздите покаяться в черных грехах!
...Но вокруг - никого. Лишь скрежещут часы.
Да плетут пауки паутину впотьмах,
Усмехаясь в усы.

* * *

Кто б меня пожалел... Семь грехов с того снимет Господь.
Кто решится на то, чтобы голову эту погладить,
Эти плечи обнять, эту вечную боль обороть,
Не послушав меня и в глаза мои злые не глядя.

Тихо-тихо в дому. Спит собака, свернувшись у ног.
Ночь глядит на меня из глухих незашторенных окон.
Чуть колыхнется тополь во тьме. И задумался Бог.
Есть подумать о чем в эту стылую ночь одиноким.

Впрочем, что я о Боге? Ведь он мне давно не судья.
В чем-то мы разошлись. В чем-то мы не поладили с Богом.
И теперь ни к чему эта нищая строчка моя.
Ничего. Только жалко, что мама не пишет так долго.

Впрочем, что я о маме. Она мне давно не рука.
Слишком долго поврозь, и чужие теперь в нашей хате.
Стать бы черной и злой, как сдавившая горло тоска,
И найти бы кого, кто б казался меня виноватей.

Одиноко и пусто. И даже подняться невмочь.
А сухие глаза до скончанья отвыкли от света.
Кто б меня пожалел... Разве только бессонная ночь,
Тополя за окном, да подушка горячая эта.

* * *

Еще богатств вокруг не счесть.
Еще цветы и травы есть.
Еще ромашкам цвести и цвести
По краю поля.
И гроздь пижмы так свежи,
И шмель доверчиво жужжит.
Он прав. Он остается жить.
Он всем доволен.

Еще деревья зелены.
Но прядки желтые видны.
Они еще чуть-чуть видны,
Едва заметны.
Цветет зеленой ряской пруд.
И все, что происходит тут,
Еще не осенью зовут,
А бабьим летом.

Но в горьком запахе равнин,
В холодном блеске паутин
Есть звук таинственный один -
Напоминанье.
На предпоследнем вираже
Как много значит он душе.
Еще не осень, но уже
Ее дыханье.

* * *

Распять меня им не хватило сил,
Я оказала им сопротивление.
Ведь мне Господь воскреснуть не сулил.
Что пользы - на кресте без воскресенья?

Я билась в кровь. Кричала во весь дух.
Во мне проснулась злая сила предков.
Смела чужих, равно как и своих.
Сломала крест. И вырвалась из клетки.

Какая ложь! Какая маета!
Есть дом, вода, кусок ржаного хлеба.
Я печь топлю обломками креста.
Курю табак. И не молюсь на небо.

* * *

Я сжигала мосты. Я рубила сплеча.
А теперь - отвечать головой.
Вот уже отцветает в степи алыча
И пора возвращаться домой.

Да, пора возвращаться. Плоды собирать
И на солнышке летнем сушить.
Чтоб зимою у печки компот попивать,
Слушать вьюгу, да жить-не тужить.

А не то налетит воронье-сорочье -
Разметут, разнесут, расклюют.
Благо, степь широка. Благо, небо ничье.
Благо, нету хозяина тут.

Ох, не греют, не греют чужие дрова.
Жестковаты чужие хлеба.
Вот теперь и боли-отвечай, голова,
Утешайся - мол, это судьба.

И сижу я одна, словно пес на цепи.
Караюлю тоску да печаль.
И гниет, осыпаясь, в далекой степи
Золотая моя алыча.

И не стоит теперь ворожить-ворошить,
Кто меня в эти земли занес...
Я не думала даже, что можно прожить
Столько лет, столько дум, столько слез.

* * *

Добро сумело уцелеть
И злом осталось зло.
А в общем, не о чем жалеть,
Что было, то прошло.

Как стало прошлое темно -
Не разглядеть лица.
И ночь глядит в мое окно
Предчувствием конца.

И мне ль теперь не знать о том,
Что это все - всерьез.
Мне осень сыплет вслед дождем
И листьями берез.

И паутинки серебра
Плывут, касаясь плеч.
Вот и окончилась игра,
Не стоившая свеч.

* * *

Загрустили лопухи у речки,
На плетнях поникла повилика.
То и дело вздрагивает вечер
От вороньего густого крика.

Тонкой паутинкою покоя
Каждая дождинка перевита.
И, склонясь над темною водою,
Сыплет листья старая ракета.

С мудрой неизбежностью распада
Я теперь уже смирилась вовсе.
Дождь идет. А я тому и рада.
Жизнь прошла. И наступила осень.

Я одна иду навстречу ветру,
Шумных птиц в дорогу провожаю
И прощаюсь. Я умею это.
Вот стою и слез не вытираю.

* * *

Видно, вправду дело к осени -
Тополя все листья сбросили.
Да какое ж это к осени -
Дело, кажется, к зиме.
Птицы снялись с мест насиженных
И летят на ветки нижние.
Жмутся, жмутся наши ближние,
Жмутся с холодом к земле.

Как мила мне осень поздняя -
Полночь мокрая, беззвездная,
Утро тихое, морозное,
В блеклом инее трава.
Ничего еще не названо,
Но уж все как будто сказано.
Поучись-ка уму-разуму,
Золотая голова.

Тополя чуть-чуть качаются.
Это листья осыпаются.
Жизнь, конечно, не кончается -
Впереди еще зима
И столы уже заказаны.
Не горюйте, птицы разные!
Поживем еще, попразднуем,
Поклюем еще зерна.

* * *

Мне понравилось быть в этой жизни ничьей,
Как холодный, во мхах заплутавший, ручей,
Как тропинка, бегущая вдаль от ручья...
И для всех - и ничья.

Никому не слеза. Никому не беда.
Прокатилась по черному небу звезда,
Прокатилась ничья, да и пала во мрак.
Мне понравилось - так.

* * *

Помнишь?.. Осень, октябрь. Мертвых листьев сухие останки
И, куда ни взгляни - морозящая, сизая мгла.
Я еще посижу на руинах воздушного замка.
Как ты тут ни крути, а полжизни я в нем прожила.

Есть что вспомнить теперь, есть о чем пожалеть мне, бездомной,
Есть подумать о чем. Но пуста и темна голова.
И осенняя ночь надо мною нависла огромно.
И в холодную пыль превратились святые слова.

И сижу я, как царь на развалинах рухнувшей Трои,
Не впустившей чужих, не доставшейся злему врагу.
Из осколков небес мне такую уже не построить.
А в кирпичном доме я, наверное, жить не смогу.

Мне теперь - умереть по законам безжалостной чести.
И рассыпаться в прах на руинах былой красоты.
Я сжимаю в руке пропотевший, истершийся крестик.
Вот и все, что смогла я сберечь от воздушной мечты.

* * *

Только ты ни о чем не проси меня.
Я надена пальто свое синее
И - по тропке до рощи осиновой.
Тут всего-то три сотни шагов.
Ах, какие здесь светлые просеки
С паутинками медленной проседи!
Ничего мне не надо от осени,
Кроме вороха сказочных слов.
Кто их скажет, - осина, береза ли,
Иль закат этот в просверках розовых, -
Но не прозою. Только не прозою,
А из тайных своих закровов.
Ветки тихо под ветром качаются,
Листья тихо к ногам осыпаются.
Ничего от меня не останется,
Кроме этих осенних стихов.

* * *

Было два стула, да оба и заняли.
Было две кружки, да в обе и налили.
Тут и беседа пошла.
С полудня к вечеру, с вечера к полночи.
Я к тебе - с жалобой. Ты ко мне - с помощью.
Два темноперых крыла.

Сумерки белым снежком припорошило.
Много ль мы видели в жизни хорошего?
В поле туман да кресты.
Много ль нам доброго Богом отмеряно?
Бросить бы все да уехать в Америку,
Или хоть за три версты!

Или хоть в царство уйти тридешатое.
Там, где Горынычи, змеи проклятые
В гуще лесов да болот.
Перешагнуть за пределы запретного,
Замуж пойти за Кощея бессмертного...
Если, конечно, возьмет.

Глуби морщин заполняются теменью.
Господи, сколько же выпито времени!
Вот уж и кружка пуста.
Господи, кто эта женщина старая?
Руки на стол уронила усталые.
Темные. Вроде креста.

* * *

«Катит по-прежнему телега...»

А. Пушкин

Сколько жить я, Боже, собиралась!
Все брала, что только попадалось.
Ну, куда мне столько баракла?
Вот уж и под горку, как с разбега.
Но, видать, загружена телега -
Даже и под горку тяжела.

Разложилась нынче, как гадалка.
И не нужно, вроде бы, а жалко.
Столько лет тянула - как бросать?
Дотяну. Теперь недолго длиться.
Может, там кому и пригодится
Не носить, так ноги вытирать.

Вот ведь как оно порой бывает:
Первый снег, и он уже не тает.
Первый снег. И он уже навек.
И скрипит, скрипит моя телега.
Под крылом задумчивого снега
Ничего не видно - только снег.

* * *

Ох и времечко было - хоть пой, хоть кричи.
Дикий посвист и пол ходуном.
Я сжигала мосты, я теряла ключи.
Что - ключи, если я - напролом!

А теперь - только тоненький дым сигарет,
На полу - неподвижная тень.
Тихо как... А всего только выключен свет.
А всего только кончился день.

И осевшую дверь не срываю с петель,
И ненужными стали замки.
И неслышно в окно полыхает метель,
И рисуют в углах пауки.

Вечереет оснеженно низенький дом,
Растворяясь в нетающей мгле.
И ключи, что нашлись у меня под столом,
Бесполезно лежат на столе.

От чего мне они? И зачем мне они?
Что искать и кого догонять?
Отцвело мое время. Прошли мои дни.
Скушно. Скушно. И хочется спать.

* * *

Может, и впрямь уже скоро на пенсию?
Или на вечный покой.
Вдруг потянуло казачьими песнями
И захотелось домой.

Вдруг потянуло речною излучиной,
Сеном в душистых валках.
Самою светлую, самою лучшею
Улицей в спелых садах.

Все тогда - побоку, все тогда - в сторону.
Сяду тишком у окна.
Теплым, ковыльным, задумчивым ворохом
Скроет меня тишина.

В пояс - роса. Берега родниковые.
Небо полынно от звезд.
А на пригорке - ветрами целованный,
Старый родимый погост.

* * *

Попировали многие со мной,
А прочие да не попомнят зла.
За кем-то, как за каменной стеной,
Я никогда по жизни не была.

Никто моей беды не рассудил.
Никто меня не вынес из огня.
Слез не отер, ошибок не простил.
И даже Бог не пожалел меня.

И я ушла туда, где белый снег.
Туда, где никого и тишина.
Мне говорят, я - странный человек.
Нет, просто я - сама себе стена.

* * *

А ты мне горе не пророчь.
Взгляни - у самого порога
Грустит, укутанная в ночь,
Степная старая дорога.

О, сколько же прошло по ней
Легко, бесследно, безоглядно
Седых снегов, косых дождей
И шумных ветров листопадных!

Куда, куда они ушли?
Какому нынче служат Богу?
В какую сторону земли
Уводит старая дорога?

Ты не пророчь, не кличь беду.
Ведь завтра рано на рассвете
Я тоже, может быть, уйду
Туда, куда уходит ветер.

ПОЭЗИЯ



Надежда Папоркова

В прекрасной глуши

* * *

Последняя, может быть, вьюга
Над городом прячет крыло.
Не чувствует сердце испуга,
Но бьется в груди тяжело.

Уснули березы у дома,
Лишь сердцу не спать суждено...
Как счастье ему незнакомо
И как долгожданно оно!

* * *

Эти синие облака,
Эта плачущая весна...
Недосказанная тоска,
Неосознанная вина.

Лист зеленый летит, спеша,
С тонкой ветви – к ногам твоим.
Так из жизни земной душа
Исчезает быстрее, чем дым.

А за нею слова летят,
Слезы падают в синеву.
Сладко шепчет пустынный сад:
- Буду рядом, пока живу...

Надежда Александровна Папоркова родилась в 1984 году в Рыбинске. В 2001 году окончила гуманитарный класс Рыбинского многопрофильного лицея, в настоящее время - студентка четвертого курса филологического факультета Ярославского государственного педагогического университета им.К.Ушинского.

Стихи Н.Папорковой публиковались в областной периодике и коллективных сборниках, московских журналах «Предлог» и «Истоки».

Член Союза российских писателей с 2004 года.

Живет в Рыбинске.

* * *

Журавлиная просьба затихла вдали,
Унося и любовь, и тревогу.
Одинокие тропы меня привели
К твоему ледяному чертогу.

Уж пора бы смириться, что день ото дня
Наши встречи больней и печальней...
Ледяное ли сердце полюбит меня
И встревожится музыкой дальней?

В некий день, когда кубок мой будет испит
И оставит душа этот берег,
Ледяное ли сердце поймет и простит
И земным моим песням поверит?

* * *

О солнце сердца, зачем ты стынешь
И кто же в том виноват?

Ты мог спасением стать, но ты лишь
Одна из горьких утрат.

Мне счастье было бы слишком ново,
И счастье мимо прошло.

Есть путь единый, и нет иного...
Как просто. Как тяжело.

* * *

Одинокая высь все бледней и мертвей,
Песни птиц от земли далеки.
Мой возлюбленный слушает шелест ветвей
У реки, у холодной реки.

Но у мраморных статуй не выпросишь слов
Утешения или тоски.
Я желаю ему ослепительных снов
У реки, у холодной реки.

Он забыл, что и мне этой муки не жаль,
Что трепещут вдали огоньки
И прощания нашего стынет печаль
У реки, у холодной реки.

* * *

Живые слова исцелят мою рану.
Я ищу этих слов, но найти не могу.
И если я жить в этом мире устану
И в печали умру на рассветном снегу,

Все так же в саду будут ветви качаться.
Ты едва ли узнаешь, что стало со мной...
И новые дни безвозвратно промчатся
Над снегами, над миром, над прошлой весной.

Но если напрасна вся жизнь изначально
И живые слова никого не спасли,
Зачем же так нежно, зачем так печально
Продолжается музыка бедной земли?

* * *

Зажги во тьме холодный свет
Старинной лампы. Ну, пойми же,
Что милой тени больше нет
В твоих объятьях. Стали ближе
Тебе – живые голоса,
А ей – неслышимые речи...
И сквозь ночные небеса
Друг другу вам ответить нечем.

* * *

Нет на лебяжьей реке лебедей.
Я их выдумываю иногда,
Но, как всегда, замерзает вода -
Это зима сторонится людей.

Выдумки тают, но им тяжело,
Даже они привязались к земле.
Не оставляйте печалей в тепле -
Дышат печали и стынет тепло.

Холодно в мире последнего сна.
Лебеди, где вы? Окрасив крыла
В тихой заре, пролетает, светла,
Жизни моей кочевая весна...

* * *

Ледяною тоскою не скованы облака,
Только ветер холодный уносит их в синий лед.
Кто-то бросил цветок – и цветок по реке плывет,
И теплей небосвода, и ветра теплей река.

Но единым теплом не вернуть, не спасти цветка,
Даже если за каждым закатом придет рассвет,
Даже если родней ничего небосводу нет,
Чем тоскующий мир, еле зримый сквозь облака.

* * *

Сердце ровно горит, не гаснет.
Скоро Вербное Воскресенье.
Будь счастливейшего прекрасней
И печального милосердней.

Сердце тихо болит, не плачет,
Ничего у тебя не просит.
Было так, а теперь иначе.
Скоро лето и скоро осень.

Скоро кончится жизнь...А значит,
Пригодится свеча на праздник.
Сердце тихо болит, не плачет.
Сердце ровно горит, не гаснет.

* * *

В этом мире прекрасном, в прекрасной глуши –
Каждый тонкий росток велик.
Светит бледное небо. Для грешной души
Этот свет – чистоты родник.

Лишь бы в небо смотреть и, душой на восход
Устремляясь, ответа ждать.
И любить все, что дышит, звучит и поет, –
Все, что молча должно страдать.

Птицу, плачущую в небесах о земле,
Ветер, шепчущий сны цветку...
Все, что ищет зари и тоскует во мне,
Воспевая свою тоску.

* * *

Я уйду, а ты останься,
Я буду помнить – ты забудь.
Судьба потерянного счастья
К другим сердцам отыщет путь.

Но в час, когда еще не деться
Нам никуда от прошлых мук,
О детских снах, о вере детской
Поговори со мною, друг.

* * *

Первые звезды стали светлей
В небе усталом.
Вот и для песни тихой моей
Время настало.

Где-нибудь плачут волны морей
Чище и выше.
Но неужели песни моей
Ты не услышишь?

Вместо звезды – на глади реки
Блики осколка.
Разве настолько мы далеки,
Разве настолько?

Стрелы заката. Раненый сад.
Кровь золотая.
Ветви и души в небо летят,
Не улетаая.

* * *

Все тихо в тающей дали.
Лишь тонко-тонко плачут птицы
И стаи странников земли
Грядут в небесные станицы.

Пусть слезы падают в траву –
Их быстрый ветер вновь осушит.
Нам снится жизнь...Но наяву
Господь спасает наши души.

* * *

Как хорошо в этом тихом ненастье
Ни от чего не зависеть!
Ни от чего, кроме неба и счастья,
Трав и сияющей выси.

Эта ли радость обманна и зыбка,
Это ль не ясно сознание?
Верить, что сладостна неба улыбка,
Чувствовать света дыханье...

* * *

Как быть? Я больше не могу
Опаздывать везде и всюду
И задыхаться на бегу,
И времени внимать, как чуду.
Молить его: ну подожди,
Не будь так глухо, так жестоко...
И оставаться позади,
И улыбаться одиноко.

Должно быть, это потому,
Что вечность мне нужна, как воздух.
Но вечности я не пойму
И путь свой не прочту на звездах,
Пока душа и жизнь моя
Еще подвластны мирозданию
И по земле скитаюсь я
От опоздания к опозданию...

* * *

Мой город горестный! Жемчужиной на дне
Сиять, иль чайкою срываться с небосвода –
Но я с тобой, моя неволя и свобода...
Зачем ты, город мой, тоскуешь обо мне?

Мой голос горестный, чуть слышный, но живой
Весне сопутствует в прогулках одиноких,
А вслед летят твои печальные упреки
Осенней музыкой, осеннею листвою.

Я собираю их в ладони. Меж страниц
Тетради тонкой им найдется оправдание,
Когда растратишь ты небесное страдание
На равнодушные улыбки милых лиц.

Но если слышишь ты меня, я говорю:
За все прости меня, мой терпеливый город.
Прости, что я тебе прощаю этот холод
И нерасцветшую чудесную зарю...

* * *

Петь не в силах, а плакать излишне.
Та же боль в раздвоенном орле.
Кто ты, созданный волей всевышней,
Бедный странник на бедной земле?

Все равно пропадать сквозь туманы,
Все равно ничего не вернуть,
Сожалея, что поздно иль рано
Завершится отмеренный путь.

Отчего же, в печали осенней
Упираясь глазами в стерню,
Ты все ищешь земное спасенье,
Неземному не веря огню?

* * *

В обетах тщетных, во лжи бескрайней
Пред Богом кается человек.
Земля открыта великой тайне
И не решается падать снег.

Покуда длится небес молчанье,
Не угасает земная речь...
Пусть каждый знает свой дар случайный –
Не каждый сможет его сберечь.

Но лишь бы верить, любить, молиться,
Приютом временным дорожить...
Так волю ветра встречают листья,
Еще пытаясь дышать и жить.

* * *

Сладость печали, счастье разлуки,
Жизнь посреди похорон.
Синяя птица просится в руки,
Просится нищий на трон.

Просит пустыня: ландышей, роз бы...
Праздника требует грусть.
Так же, без права даже на просьбы,
Я в ваше сердце прошусь.



Алексей Серов

Мое слово крепко!

Рассказ

Однажды тесть моего приятеля взял и купил себе пистолет. Он ему был совершенно не нужен, но он его зачем-то все равно купил. Предложили - и не смог отказаться.

Пистолет был газовый и весь его смысл состоял в фыркани гнусным газом, раздражавшим слизистую оболочку носа. Правда, с виду эта пукалка походила на настоящее боевое оружие. Наверное, в душе тестя моего приятеля разыгрались древние хищные трубы, до того мирно спавшие. В общем, он его купил и стал носить в кармане, хотя и сам, скорее всего, не знал, решится ли когда-нибудь применить.

Иногда на виду у всего двора он подходил к своему древнему, как динозавр, «Запорожцу» и, картинно откинув полу пиджака, небрежно совал пистолет в задний карман брюк. Говорил что-нибудь, вроде: «Ну... поеду разберусь с ребятами». Такой ковбой. Дети смотрели на него восторженно, взрослые крутили пальцем у виска. А он заводил машину, ехал куда-нибудь, часа на два - и возвращался невозмутимым героем, только что пристрелившим парочку негодяев.

Чехов говорил про театр: если в первом акте пьесы на сцене висит ружье, оно рано или поздно должно выстрелить. Так вышло и с тестем моего приятеля. Пистолет, постоянно носимый в кармане, неким таинственным образом начал воздействовать на психику этого человека: старик стал искать случая применить свое оружие.

Проходя однажды вечером мимо гаражей, стоявших на отшибе, он заметил, как две подозрительные личности что-то от этих гаражей волокут. Уже темнело; вокруг, разумеется, никого не было. Тесть моего приятеля оказался один на один с этими людьми. Почему-то он сразу решил, что они - преступники.

Силы были явно неравные, и в другой ситуации старик бы сто раз подумал, прежде, чем что-то предпринять. Но пистолет в кармане жег ему тело, просился наружу. Тесть моего приятеля, надо сказать, никогда не считал себя особо законопослушным человеком, он и сам при случае не стеснялся увести то, что плохо лежало - туда, где оно будет лежать лучше. В общем, он был совершенно

Биография А.А. Серова опубликована в № 1 за 2003 г.

© Алексей Серов, 2004.

нормальным человеком, совсем, как мы с вами. Просто так случилось: в кармане у него лежал пистолет и на ловца бежал крупный зверь.

Тесть моего приятеля решил изобразить из себя полуночного борца с преступностью. Он вытащил пистолет из кармана и скомандовал подозрительным личностям поднять руки вверх.

Это были отец и сын. Отец был майором компетентных органов, реальным героем невидимого фронта, часто в своей жизни имел дело с разнообразным оружием. Он сразу увидел, что пистолет - газовый, а человек, наставивший его на них - старик, который не понимает, что делает. Ну, не поднимать же, в самом деле, перед таким фруктом лапки! Да и перед сыном майору было бы стыдно продемонстрировать свое бессилие, непедагогично.

Обложив старика матом, майор велел ему опустить оружие.

Тесть моего приятеля, хотя и плохо понимал, что делает, оружия, однако, не опустил. Если уж он что-то начинал, то обычно старался довести дело до конца, пусть даже вопреки здравому смыслу. «Мое слово крепко!» - любил, бывало, повторять он. Размахивая пистолетом, старик начал стыдить гадское ворье, которое тащит все подряд. Он волновался, брызгал слюной, подсакивал к отцу с сыном и тут же отсакивал от них, опасаясь ответных действий. И опасался не зря. Майор слушал-слушал, утирал с лица чужую слюну, орал что-то в ответ, а потом вдруг резким движением взял, да и выхватил пистолет из руки пенсионера.

Тот изумленно уставился на свою пустую ладонь, не веря, что смог так вот легко облажаться. А задержанный тут же предъявил ему удостоверение компетентного сотрудника и потребовал документы и разрешение на пистолет.

Разрешения у тестя не было, у него был только паспорт законопослушного гражданина России. И этот паспорт представитель органов конфисковал у него. А перед этим вместе с сыном, который был едва ли не здоровее своего круглого, литого папаши, хорошенько намял бока тестю моего приятеля. С той целью, чтобы старику было впредь не повадно разгуливать по ночам с оружием и задерживать не тех, кого надо.

Вернувшись домой без документов и пистолета, потеряв лицо и часть заоблачного самомнения, старик долго не знал, что ему теперь делать. Однако без паспорта в нашей стране никуда, пришлось ему идти к майору на поклон.

Представитель доблестных органов простить пенсионера, однако, не желал. Ишь ты, - думал он, - эдак каждый возьмет в руки оружие без всякого разрешения, без регистрации... да и вообще: если у каждого будет пистолет - на кой черт станут нужны спецслужбы? В тюрьму сажать старика он не собирался, но проучить глупца ему было в кайф - и он тянул, канителил.

Наверное, компетентный сотрудник в скором времени все же отдал бы тестю моего приятеля паспорт. Однако терпение у старика лопнуло раньше. Пойманный на глупости, лишенный документа, он в собственных глазах перестал существовать в качестве полноценного гражданина своей страны. А ведь он всю жизнь вкалывал по-черному, платил, в конце концов, налоги, из которых немалая часть шла на содержание этих самых органов. Да и сомневался по-прежнему старик: все-таки, что же они там тащили, папаша с сыном, от тех гаражей?

- Мент поганый! - ругался старик. - У-у, волчара!

Однажды вечером мой приятель, зайдя к своему тестю, застал его порядочно пьяным, расхаживающим по квартире с хитрой усмешкой и грозящим кому-то указательным пальцем. В другой руке тесть держал гранату «Ф-1», в просторечии именуемую «лимонкой».

Приятель мой остолбенел.

- Уж не на мента ли вы собрались, папа?

Но папа не отвечал - и на все уговоры спрятать, или, лучше, совсем выбросить эту гадость только загадочно усмехался, крепко сжимая в ладони ребристый кругляк гранаты.

Пытаться отнять у него эту игрушку было себе дороже - и мой приятель, высказав дорогому родственнику все, что он думал о нем многие годы, повернулся и ушел. В конце концов, его терпение тоже не было бесконечным: достал, старый пердун!

Дальнейшие события можно в подробностях восстановить по милицейским и судебским протоколам. Но в общих чертах дело выглядело так.

Тем же вечером тесть моего приятеля в очередной раз явился на квартиру к майору и потребовал вернуть паспорт. Тон старика был сух и деловит, а поза горделива. Майор удивился: и с чего бы эта ветхозаветная шпана поперла таким буром? Он тут же послал старика очень далеко, пообещал оставить его навсегда беспашпортным и бесштаным и хотел уже вытолкать за дверь - но тут дед неожиданно извлек из кармана гранату, которую держал там в полной готовности к действию.

- Если сейчас не отдашь паспорт, получишь вот это, - внятно пообещал пенсионер.

Майор, как человек уже опытный в общении именно с этим террористом, опять начал было заговаривать ему зубы и мысленно прокачивать возможные варианты своих дальнейших действий, но дед ждать не стал. Он бросил гранату под ноги своего врага и сложил руки на груди, подобно Наполеону, наблюдающему маневры гвардии. На самом себе он, видимо, уже поставил крест и ничуть об этом не жалел. Главным для него было - чтоб майор все правильно понял.

Пинком ноги майор забросил гранату в маленькую комнату своей «двушки». В этой комнате как раз никого не было, жена и сын майора сидели на кухне, пили чай. Пнув гранату, майор захлопнул дверь и, падая на пол, увлек за собой старика. Одновременно он крикнул своим, чтобы ложились. Дисциплинированная майорская семья мгновенно выполнила команду.

Грохнул взрыв. Вылетела дверь комнаты, принявшая на себя град осколков, распахнулись настежь другие двери. Вылетели все стекла в квартире. Но люди, благодаря профессионализму майора, не пострадали.

Дальше было следствие, суд. Зачитывались характеристики на майора, на тестя. Майор выглядел в этих бумагах ангелом, тесть - монстром, хотя сорок пять лет проработал на одном предприятии, не имея нареканий. Прокурор сказал речь. Старику дали шесть лет, под старую задницу.

Любопытным было его последнее слово. Возвысившись над ограждением, словно герой-революционер, обличающий царский произвол, он длинно обматерил майора, а потом, ударив левой рукой по сгибу правой, непристойно помахал ею перед собой.

- Так будет всегда! - выкрикнул он. - Мое слово крепко!

Кажется, он и вправду думал, что его дело выгорело. А может, просто всю жизнь мечтал сыграть эту роль?

Майор лишь бледно улыбнулся в ответ. Плевать ему было на то, что думал пенсионер. Главным для него было - закатать своего врага куда подальше.

В общем, все остались очень даже довольны такой развязкой. Старику за мелкое хулиганство в зале суда накинули, правда, еще месяц. Но он не обратил на это никакого внимания.

ПРОЗА



Александр Богатырев

И мы уезжаем...

Рассказ

Когда Светлане впервые назвали ее диагноз, она невольно, но совершенно искренне рассмеялась: рассеянный склероз – это же не просто что-то сугубо старческое, это же... улицы Бассейной только не хватало!

Потом, конечно, ей все объяснили. Через полтора года, уже с трудом ходя даже по собственной квартире, она имела почти полное представление о том, что ее ждет.

Из школы пришлось уйти, пробовала подрабатывать репетиторством. Конечно, денег не хватало: кому по нынешним временам нужен репетитор, не имеющий прямого доступа к экзаменационной комиссии соответствующего вуза? Оставалось сидеть во все более одиноких четырех стенах и с ужасом чувствовать, как ползет по телу необратимая болезнь.

На ту пенсию, которую ей дали по инвалидности, невозможно было не то что лечиться, но и просто жить. На одну только родительскую трехкомнатную в «сталинском» доме уходило аккурат чуть поменьше этой самой пенсии. Так что Светлане буквально, без иносказаний, приходилось иногда голодать.

Ко всему этому она относилась спокойно, сама своему спокойствию немало удивляясь. Жить ей хотелось, но вроде как чисто теоретически. Словно однажды она спросила себя: «Жить-то хочешь?» И сама же себе ответила: «Хочу. А толку-то?»

Вдруг позвонила Эльвира, которую вообще-то звали Альбиной и с которой Светлана, неизменный комсорг курса, провела все институтские годы. Откуда только она все узнала? Посочувствовав ровно столько, сколько требовалось, Эльвира перешла к делу. Ей нужна была квартира, куда она могла бы приводить своих нынешних клиентов: когда на час-два, а когда и на всю ночь. Поскольку клиенты были такие, что с низов поднялись уже весьма ощутимо, квартира им требовалась более или менее приличная. Соответственно, и деньги Эльвира предлагала более чем приличные: почти ровно месячную Светланину пенсию по инвалидности за каждую рабочую ночь.

Трудовые обязанности Светланы заключались в том, чтобы поддерживать порядок на рабочем месте Эльвиры и двух ее девочек. Было это, в общем,

Биография А.М. Богатырева опубликована в № 1 за 2003 г.

© Александр Богатырев, 2004.

нетрудно, потому что за бельем приходили из прачечной, а выпивку и закуску подвозили из кабака. Отдельных буйных быстро приводил в чувство полуторцентнеровый мастер спорта по вольной борьбе Володя, с которым Светлана обычно пила чай на десятиметровой своей кухне, пока в остальных трех комнатах (в «зале» и двух «кабинетах») Эльвира и девочки работали с очередными клиентами.

Особых моральных терзаний у нее не было, разве иногда как-то сама собой проплывала мысль: «Хорошо, что мама не дожила». Не было и особой радости от денег, просто теперь Светлана могла не думать ни о квартплате, ни о лекарствах, ни о питании. Она и не думала.

Однажды на кухню ввалился вдрызг пьяный молодой человек с характерной стрижкой, в одних трусах и почему-то ярко-синем галстуке на голой бычьей шее. Володя уже встал, чтобы вежливо проводить заблудившегося клиента (обычное дело), но тут парень вдруг уставился на Светлану и с трудом выговорил:

- Зз..здравствуйте, Светлана Николаевна!

Странно, но Светлана вспомнила его сразу же. Шершунов? Да, кажется, Шершунов, а вот что Павел – точно. Павлик Шершунов. В ее первом пятом «А» у него была кличка Шершень. Дикий драчун и матерщинник, но учился, как ни странно, на твердые четверки по всем предметам. Школа тогда только-только стала специальной, а поэтому уроки английского были каждый день. До самого аттестата Шершень не получил у Светланы ни единой тройки, и она могла только догадываться, чего это стоило парнишке из семьи, где троих детей (были еще две младшие сестры) тянула мать-одиночка, работавшая обрубщицей на том самом металлическом заводе, главным инженером которого до самой смерти был отец Светланы.

Павлик влюбился в новую «англичанку» с первого дня. Это была такая отчаянная и безнадежная любовь, какая может быть только в пятом классе, и никогда больше. Правда, тогда это Светлану не столько трогало, сколько раздражало: стоило ей приблизиться к его предпоследней парте, как Шершень наливался краснотой, начинал сопеть и все норовил как-нибудь так расположиться, чтобы хоть краешком рукава дотянуться до ее руки, одежды, или хотя бы указки, с которой она расхаживала по классу.

Как-то этот самый Павлик устроил на школьной спортплощадке мордобой сразу с тремя восьмиклассниками. Естественно, они его быстро положили мордой в песок и отпинали, поначалу не слишком сильно. Как только они попробовали отойти, он вскочил и снова набросился на самого из них здорового. Его снова положили и отделали уже серьезнее, но Шершень опять встал, хотя и с видимым трудом, и попытался на полном серьезе дотянуться дрожащими ручонками до шеи одного из противников. Это переходило все границы, а потому наглеца опять вполне серьезно уложили и еще более серьезно по нему прошлись. Сотрясение, две трещины в ребрах, перелом ключицы и выбитый передний зуб... а причиной всему был срыв этой тройцей урока английского в своем классе. Когда накануне Светлана вошла туда, на доске крупными буквами было написано в ее адрес самое грязное из всех возможных на английском языке ругательств. Догадаться, откуда ноги растут, было несложно: у одного из трех оболтусов брат вернулся незадолго до этого из первой своей заграники. Видимо, поделился с младшеньким расширившимся словарным запасом... К самой Светлане ни у кого из тройцы особых претензий, собственно, и не было, просто оболтусам жутко хотелось немедленно воспользоваться полученными знаниями, а она была самой молодой и красивой из всего педагогического коллектива. Помнится, она тогда на эту выходку не обратила особого внимания, хотя вести урок в этом классе в тот день отказалась.

В больницу к Шершунову самой ей тогда бы и в голову не пришло идти, но директриса отправила «выяснять обстоятельства»: дело грозило дойти до милиции и суда, элитной спецшколе только этого и не хватало. Светлана отсидела у койки Шершня десять минут, отдала два яблока и пачку печенья, а на прощанье механически потрепала мальчишку по коротко стриженным волосам. Тут он вдруг схватил ее руку и неумело прижался к ней

губами. Светлана не знала, что сказать, как поступить, ей было очень неприятно. Больше она к Шершню не ходила. Да и сам он особо ей не докучал, разве что старые перечницы в учительской не упускали случая напомнить, что «ваш-то», Светлана Николаевна, снова что-нибудь учудил.

И вот теперь он вывалился к ней на кухню в одних трусах...

Когда утром Володя загружал в стоявший у подъезда джип бесчувственных клиентов, а Эльвира давала ей указания на следующий вечер, Шершунова в этой компании уже не было. Еще Светлана обратила внимание, что обе эльвирины девушки как-то странно с утра на нее посмотрели, будто пытаясь в этой бесцветной и с трудом держащейся на ногах пожилой женщине (32 года) разглядеть что-то такое, чего прежде не замечали. Она отметила про себя равнодушно: «Надо же, у проституток авторитет начинаю завоевывать». И почти механически довела мысль до конца: «Нет, не получится у меня в бригадирши выбиться, не успею...»

Шершень пришел к вечеру - трезвый, серьезный, одетый с той бьющей в глаза демонстративной роскошью, которая служила неиссякаемым источником для анекдотов о новых русских: и золотая цепь на бычьей шее, и блестящий, хоть и не малиновый, а черный со стальным отливом, пиджак, и часики «сейко» на тяжеленном браслете белого золота. Белоснежная рубашка, дорогуций галстук... Пришел он не один, а с холеного вида господином в весьма зрелых годах, который показался Светлане знакомым. Без особого интереса, скорее, по привычке покопавшись в памяти, она вспомнила и его.

Это был знаменитый профессор, на консультацию к которому она безуспешно пыталась попасть, когда еще только начала понимать, что на самом деле скрывается под таким несерьезным названием – «рассеянный склероз». Ей тогда сказали, что этот доктор - такое светило, каких и в столице по пальцам одной руки пересчитать можно. И если он возьмется, то полное и бесповоротное выздоровление ей гарантировано.

Хлопотать Светлана перестала только тогда, когда ей, наконец, прямо назвали сумму, которую профессор берет за одну только предварительную консультацию. После этого она уже совершенно равнодушно выслушивала от соседок по больничному отделению и жаркие славословия в адрес профессора-чудотворца, и не менее страстные разоблачения и проклятья. Ей стало все равно. Таких денег у нее не то что не было, а и быть-то не могло.

День, в который заявился Шершень, был выходной, в том смысле, что не было ни Эльвиры с ее девочками и клиентами в комнатах, ни Володи на кухне. Обычно такие дни были теперь для Светланы пустыми: она ничего не делала и ни о чем не думала. Даже телевизор не смотрела и уж, тем более, не читала ни книг, ни газет. Просто лежала и, сама того не желая и не отдавая себе в том отчета, прислушивалась изнутри к тому, как неслышно расплзается по ее ненужному никому, даже ей самой, телу неумолимая болезнь. Иногда она вдруг начинала плакать, но и плакала как-то равнодушно, будто помимо собственной воли. Просто текли себе слезы, от которых на душе не становилось ни легче, ни тяжелее. Появление Шершню в паре с драгоценной знаменитостью она восприняла с тем равнодушием, которое в последнее время стало ее привычным состоянием. Сказала самой себе: «И плевать мне на них». И привычно довела мысль до конца: «И на себя тоже».

Когда профессор предложил ее осмотреть, она не испытала ничего, кроме некоторого раздражения, тоже, впрочем, едва ощутимого: зачем это теперь, когда все уже ясно? Но потом пожалала плечами и почти неожиданно для двух мужчин сбросила дурацкий длинный халат в аляповатых цветах и разводах, который подарила ей Эльвира. Под халатом ничего не было: Светлана давно уже перестала по утрам не только «чистить перышки» перед громоздким маминым трюмо, но и просто одеваться. Она не то что забыла изобразить стеснение, просто даже не подумала ни о чем. Ей хотелось одного: чтобы все это побыстрее кончилось, чтобы они ушли и оставили ее в покое. Тогда, наконец, она сможет лечь и отдохнуть. Смешно стесняться в публичном доме, тем более, если он у тебя на дому.

Шершень, о чем-то вполголоса переговаривавшийся с профессором, замолк на полуслове, потом вдруг покраснел до какой-то синюшной багровости, резко встал. Потом снова сел, потом снова встал и вышел на кухню, старательно смотря мимо Светланы, в окно, словно пытаясь разглядеть, что там, на улице происходит. Это было так неожиданно, что Светлана невольно улыбнулась, а профессор укоризненно покачал ухоженным седым клинышком:

- Зря вы так с ним, голубушка. В приличном обществе принято спасибо говорить, когда помочь пытаются. Тем более - за такие деньги. Впрочем, разбирайтесь сами. Давайте-ка, приступим...

Осматривал он ее минут сорок, и уже по манере этого осмотра Светлана поняла, что рассказы о необыкновенных врачебных талантах этого невысокого толстячка имели под собой немалые основания. Он не пропустил ничего, все его вопросы были не просто по делу, но касались именно самого существа этой единственно важной для Светланы ситуации.

Окончив осмотр, он помолчал, потом кивнул в сторону кухни и спросил:

- Ну, что, позовем заказчика или вам одной сначала?

Светлана с удивившей ее саму злобой в голосе ответила:

- Кто вам деньги платил, перед тем и отчитывайтесь!

Профессор не обиделся. Молча пожал плечами и прошел на кухню, даже дверь за собой прикрыл. Светлана набросила халат, села на диван, взяла в руки валявшегося с детства у спинки плюшевого мишку. Она пыталась не прислушиваться к негромкому и очень спокойному голосу профессора, который время от времени перебивали отрывистые, непонятные реплики Шершня. Тон этих реплик становился все более раздраженным, Шершень уже почти выкрикивал что-то угрожающее, так что Светлана совсем уж было решила пойти и вмешаться, но вдруг дверь в кухню распахнулась наотмашь, и Шершень почти вынес профессора на вытянутых руках, крича ему прямо в лицо:

- Мне плевать на твою науку, понял? Но ее ты мне вылечишь! Или я тебя наизнанку выверну! Любые лекарства прописывай, любых светил вызывай, хоть из Америки! И не дай бог, если медицина окажется бессильна! Ты мне этого больше не говори никогда, понял?

Светлана подбирала слова, чтобы утихомирить бывшего ученика, но профессор заговорил сам, с неожиданным металлом в голосе:

- Ты меня тут на «понял» не бери, понял? И нечего мне перед носом то «зеленью», то кулаками размахивать. Даже если озолотишь, сделать смогу только то, что в моих силах. И не пугай меня, я пуганый. Я таких авторитетов пользовал, до каких тебе, шпана уличная, за сто лет не дорасти! На куски порвут!

Он стряхнул с плеч руки Шершня, присел рядом со Светланой и сказал почти спокойно, обращаясь уже к обоим:

- А теперь, голуби, давайте поговорим серьезно.

Разговор оказался не слишком пространственным. Самой Светлане доктор задал всего один вопрос:

- Вы, мадам, полагаю, имеете представление о своем реальном состоянии?

И, удовлетворившись ее безразличным кивком, заговорил дальше, обращаясь уже исключительно к Шершню:

- Так вот, молодой человек, как я уже сказал, остановить сам процесс мы не в силах. Поэтому речь может идти лишь о том, чтобы, так сказать, растянуть его по времени.

Шершень набычился и в упор уставился на профессора:

- И на сколько же ты можешь... это самое... растянуть?

Профессор взгляда не отвел.

- По деньгам. Исключительно по деньгам, молодой человек. Потому что отныне каждый лишний месяц жизни вашей знакомой будет вам обходиться все дороже.

Насколько понимаю, именно вы собираетесь оплачивать ее, так сказать, проездной билет...

Он помолчал, бросил искоса взгляд на Светлану и добавил уже помягче:

- Ну, и насколько ей повезет.

Светлана с некоторым даже удивлением поняла, что вот до этих самых слов она все-таки, оказывается, на что-то еще надеялась. Странно! Она-то была уверена, что со всеми надеждами распрощалась уже давным-давно...

Шершень спросил коротко:

- Сколько?

Профессор вздернул белесые брови:

- Вы имеете в виду деньги? Или время?

Видно было, что происходящее чем-то начинает ему даже нравиться. Словно это был какой-то спектакль с неожиданной, а потому занятой интригой.

- Сколько ты ей даешь?

Профессор написал что-то на подвернувшейся бумажке и показал ее Шершню.

- Молодой человек, торговаться с вами мне незачем. Светлана... простите?... да-да, Николаевна, вполне может прожить еще лет двадцать. И даже того более. Будем надеяться. Но, с другой стороны, она может через год-полтора стать абсолютно беспомощной. Абсолютно! Простите, даже на горшок она не сможет сесть самостоятельно. И деньги нужны для того, чтобы шансов на первое у нее стало хоть чуть побольше, чем на второе. Сумма, которую я вам написал, это необходимый начальный взнос. Но никакие деньги ничего не гарантируют, и это вы тоже должны ясно понимать.

Шершень сделал последнюю попытку:

- А если, скажем, в Москву?

Профессор, казалось, только этого и ждал:

- Да ради бога! Желаете, я вам даже рекомендацию дам...

Они еще что-то там обсуждали, но Светлана уже не слушала. Вот и все, сказала она себе. Вот и все. Теперь, Павлик, твоя очередь яблочко в больницу нести. Только рук целовать никто тебе не будет, не надейся. Благородный разбойник... смешно! Знать бы тогда, в школе, что он станет вот таким... Да нет, что изменилось бы? Соблазнять бы его стала? Или пятерки ставить? Господи, когда ж это все кончится!

И сама себе ответила, будто успокаивая: «Скоро, скоро...»

Все-таки он свозил ее в Москву. Даже два раза. И на Алтай к какой-то бабке, из тех, что лечат от всех болезней. И к разбитному старику в окрестностях Львова, который сначала все материл клятых москалей, а потом надавал целый чемодан каких-то настоек, пакетов с травами. К немалому удивлению Светланы, ей стало лучше, пусть и ненадолго. Через полгода Шершень снова собрался везти ее к тому деду, но оказалось, что западенец уже умер.

Шершень уже лучше, чем она сама, разбирался в ее болезни. Он постоянно списывался, созванивался с какими-то клиниками, лечебными центрами, привозил неведомых медицинских светил, тратя огромные, по меркам Светланы, деньги. Она подчинялась. Он приходил и говорил, что они едут, и они ехали. Ходила она уже совсем плохо, так что в самолет или поезд ему приходилось заносить ее на руках самому или с кем-нибудь из своих друзей. Все они были, как на подбор, молодые здоровые бугаи, от одного вида которых стюардессы и железнодорожные проводники начинали суетливо помогать устраивать Светлану поудобнее.

За все это время она только однажды внятно спросила его:

- Послушайте, Павел, а с чего вы вообще решили меня облагодетельствовать?

Он в это время как раз что-то горячо объяснял ей, пересказывал какую-то статью о сенсациях в медицине: он теперь чуть не каждый день потчевал ее такими рассказами. Оборвался на полуслове, покраснел. И, глядя в окно, выговорил, наконец:

- Вы мне всю жизнь... это самое... Осветили, в общем.

Она не рассмеялась только потому, что по привычке пожизненной отличницы принялась сразу же вспоминать, откуда он это мог взять. Нет, в «Гранатовом браслете» это было как-то вроде по-другому... С почти неподдельным интересом она спросила:

- Господи, Павел, это где ж вы такое вычитали?

Он молча встал, ушел и не приходил два дня. А потом вернулся и все пошло по-старому.

Шершень не часто рассказывал ей о своей жизни, о женщинах они не говорили тем более. К ней самой, как женщине, он видимого интереса не проявлял, что ее, с одной стороны, не удивляло и даже вполне устраивало, но, с другой, все-таки задевало, причем чем дальше, тем больше. В конце концов она прямо спросила его:

- Скажите, Павел, вы брезгуете мной?

Признаться, ей не так уж и хотелось того, на что она его фактически спровоцировала. Для нее это было вроде эксперимента, который она зачем-то продолжала ставить и над собой, и над ним. Она понимала, что после такого ее вопроса он должен будет либо уйти совсем, либо преодолеть то последнее, что еще их разделяло. Она сама не знала, чего ей хотелось больше. Эта странная, ненормальная привязанность к ней молодого здорового бандита уже стала раздражать ее. Почти так же, как раздражала когда-то смешная любовь пятиклассника.

Через полчаса после этого вопроса она поймала себя на мысли, что, наверное, дерется он с таким же ожесточением, с каким сейчас ее ласкает. Дерется, или бьет кого-то (он же должен кого-то бить, да?) с тем же желанием выбить из своей жертвы что-то нужное себе (ну, или банде своей), с каким пытается высечь сейчас из ее безразличного, а потому покорного тела хоть какую-нибудь искру. Хотя бы чисто физиологическую реакцию. Да, вот тебе и рефлекс. Должен быть, а нету. Ей стало смешно: вот, даже на подопытную собачку не тяну, обманула бы самого академика Павлова.

Она до того ушла в эти странные свои мысли, что почти не обратила внимания на то, что Павел вдруг затих, отстранился. Он потянулся к выключателю и зачем-то зажег свет. Посмотрел на нее с очевидным удивлением и едва ли не страхом:

- Так я что...первый у тебя, что ли?

Черт, подумала она, такое событие пропустила! Впрочем, какое это имеет значение? Первый, последний... Вернее, так – первый и последний. Почему-то она разозлилась и с противной самой себе, какой-то повизгивающей интонацией спросила:

- А чего испугался-то?

И продолжила втягивая, с нарочитым спокойствием:

- Не бойся, не малолетку совратил...

Еще подумав, добавила:

- А до алиментов все равно не доживу.

Он посмотрел на нее с тем недоумением, с каким приласканный и балованный щенок смотрит на беспричинно ударившего его хозяина. Она подумала, что он сейчас или расплачется, или все-таки даст ей по морде. И, чтобы опередить его в любом случае, с нескрываемой издевкой посочувствовала:

- Беденький, за свои денежки, и в такую историю влипнуть... Да еще и со старухой! Уж извини, не предупредила.

Она спокойно ждала удара, но Шершень сел, прижав спину к бессмертному китайскому ковру, который ее отец еще в середине пятидесятых, задолго до ее рождения привез из командировки как подарок чуть ли не от самого Мао Цзедуна за помощь братскому народу в развитии промышленности. Подтянул колени к груди, обхватил их руками. Неожиданно заговорил, будто продолжая прерванный рассказ:

- А самая большая мечта у меня тогда была такая. Приезжаю я, значит, в школу, взрослый уже, вот как сейчас примерно, на белом «мерседесе». Помнишь, тогда у нас этот, как его, кооператор-то первый, Лагунов, на таком разъезжал. Подержанный, но мы

тогда и такие видели только в кино да по телевизору... Вот, значит, подъезжаю, а тут ты выходишь со своим Рубанчиком...

- А это еще кто? – искренне удивилась Светлана.

- Да физик наш, неужели не помнишь? Виктор Васильевич, мы его Рубанчиком звали, какой-то весь такой интеллигентный всегда. Ну, фамилия у него такая была – Рубанчик. Да у нас больше и мужиков-то в школе не было... – Он вдруг засмеялся. – Знала бы, как я тебя жалел. Вот за то именно, что будешь ты Светлана Николаевна Рубанчик...

И тут Светлана, действительно, вспомнила этого самого Рубанчика. Их с ним дружно сосватали чуть ли не в первый день ее появления в школе, он воспринимал это как должное, а она никак не могла пересилить в себе какую-то брезгливость: в том бабьем царстве он считал себя великим сердцеедом и любимцем женщин и не просто ждал, но буквально требовал восхищения собой. Вспомнив, Светлана невольно улыбнулась, и Шершень, заметив это, радостно оживился:

- Вот, и я тоже... Так мы до десятого и прождали, когда же вы поженитесь. Он, кстати, сейчас частную школу открыл, вроде как приданое за дочку Кравцова отхватил. Ну вот, подъезжаю я, а ты выходишь с Рубанчиком. И вот тут-то ты понимаешь, как жестоко ошиблась, наплевав на мое большое и светлое чувство. Но я забываю обиды, распахиваю перед тобой дверцу - и мы уезжаем...

- Куда? – вдруг заинтересовалась Светлана.

- Да какая разница, - отмахнулся Шершень. – В светлый терем с балконом на море. Или еще куда...

Утром ей почему-то захотелось апельсинового сока. Он побежал в ларек на углу и даже входную дверь не стал запирасть на ключ, просто прикрыл. Потом она услышала три негромких хлопка, как будто сорвались подряд три крышки у банок с консервированными огурцами. Шершня встретили по всем правилам, на выходе из подъезда: два в грудь и один контрольный в голову.

До того, как последовать за ним, она прожила еще полгода. И в один из дней все-таки нашла в себе силы добрести до Аллеи героев на главном городском кладбище. Там стояли в ряд типовые памятники из казенного гранита: герои войны, труда, ветераны, почетные граждане, или просто те, кому лежать здесь предназначено по должности. На самом видном месте, сразу у входа, направо, как бы в переднем углу, останавливал взгляд «микрорайон», как называли его все местные - десятка два двухметровых монументов из полированного черного лабрадора. Повсюду - живые цветы, вокруг ни соринки, асфальт, аккуратная щебенка боковых дорожек. Третий памятник с краю выделялся тем, что изображенный в полный рост молодой человек стоял на фоне белого «мерседеса», с ключами зажигания в руке. Золотом горела надпись: «Шершунову Павлу от братков». И ниже, тщательно выписанным курсивом: «Спи спокойно, Шершень. По твоим долгам все уплачено».

ПРОЗА



Ольга Фролова

Нежное сияние

Чудесные мгновения
моей жизни

ПОЗДНИЙ ЦВЕТОК

В поле и в лесу в эту пору цветов не увидишь. Только кое-где мелькнет головка облысевшей ромашки или ржавая шишечка клевера. И все же бывает, что и осенью встретишь настоящий весенний цветок.

Посреди холодных и дождивых дней сентября вдруг наступает удивительная пора бабьего лета, ласковая и обманчивая одновременно. Тепло, не такое, как в августе, а нежное, с оттенком печали, обманывает какой-нибудь доверчивый одуванчик или ромашку - и вот прямо посреди чисто убранной клубничной грядки распускается роскошный куст. Затем этот куст выбрасывает кверху сочный стебель, на вершине которого появляется тугий бутон. В солнечное время суток из него раскрывается золотой одуванчик, который, наверное, ощущает себя настоящим весенним цветком. Он честно работает маленьким солнцем, покуда светло, и заботливо закрывает желтую чашечку вечером или перед непогодой.

Не поднимается рука прервать жизнь этой ненужной красоты. И так-то короток век у позднего цветка. Смотришь на него и думаешь, что запоздалые цветы, как и ушедшая любовь, ничего кроме жалости, не вызывают.

ЗОЛОТАЯ МЕТЕЛЬ

Вдоль серой асфальтовой дорожки растут лиственницы. Их золотые иглы обрамляют ее с двух сторон, образуя тонкое золотистое кружево. В солнечный день это создает картину волшебную: золотое кружево на деревьях, золотое кружево под ногами, и все искрится в мягком свете октябрьского солнца.

Но погода в эту пору переменчива. Внезапно налетает порыв ветра и начинает забавляться: то поднимает лиственничные иглы с земли и кружит их светло-желтыми вихрями, то озорничая, срывает убор с деревьев и сыплет иголками, будто золотым снегом. Пушистые и яркие, они качаются в воздухе, как дорогая кисея.

Так же внезапно все заканчивается. Наигравшись, ветер бросает всю эту красоту - и она ложится по краям дорожки, образуя золотые кружева. А ветер улетает к березам, чтобы поиграть их листьями, похожими на золотые целковики.

Биография О.В.Фроловой опубликована в № 2 за 2003 г.

© Ольга Фролова, 2004.

ПЕРВЫЙ ЗАМОРОЗОК

День накануне был удивительно хорош: солнце пекло, как летом, небо синело бездонной высью, листва, окрашенная всеми цветами осени, была великолепна. А к вечеру на город вдруг опустился тягучий холодный туман. Липкая мгла расползлась по улицам, заполнила небо, закрыла звезды.

В ожидании чего-то непонятного люди легли спать, но сон в эту ночь был прерывистый и неглубокий. Тот, кто забылся только под утро, пропустил все чудо первого осеннего заморозка. А тот, кто так и не смог сомкнуть глаз, в изумлении застыл у окна.

На зеленой еще траве, на желтых, бордовых и алых листьях лежал густой серебряный иней! Даже на сером асфальте, на крышах машин у подъезда все побелело. Холодно было не по-осеннему: на градуснике - ноль. Солнце никак не могло пробиться через рассветную пелену, а звуки голосов и собачий лай как будто вязли в чем-то, похожем на вату.

Только часам к восьми солнечные лучи все же достигли земли, слегка потеплело, и первый в эту осень иней начал потихоньку таять. А к полудню все было, как вчера: солнце пекло по-летнему, небо сияло безбрежной синью, листва пламенела, как на полотнах Левитана...

СЕДАЯ ТРАВА

Еще неделю назад не было в природе этой пронзительной тоски. Трава на полях хоть и полегла, но зелень проступала сквозь желтизну, а пушистые серебряные метелочки даже создавали какое-то праздничное впечатление. Лес, по-осеннему яркий и многоцветный, еще не просвечивал насквозь. В солнечные дни все его великолепие радовало глаз, и, казалось, так будет всегда.

И вдруг в один миг все изменилось в природе. Серая прозрачная туча опустилась низко к земле, и все краски погасли. Сразу стало видно, что трава уже не желтая и не зеленая, а седая. И праздничные метелочки потемнели и приобрели какой-то траурный вид.

Безнадежной тоской повеяло и в лесу. Яркое оперение деревьев упало на землю, и от листьев потек слабый запах тления. Лес стал прозрачен для глаза: только стволы берез светятся, да ели мрачно поглядывают сквозь голые прутья кустарника.

Грачи еще не улетели, но уже сбились в такой огромный рой, что сразу понимаешь: они скоро покинут наши края.

Грустно и человеку в такое время. Невольно приходят в голову разные печальные мысли: о незаслуженных обидах, о невозвратных потерях и холоде долгой зимы.

В ОЖИДАНИИ ХОЛОДОВ

Только на пустом перроне дальней станции в хмурый октябрьский день чувствуешь себя так одиноко. Холода еще не наступили, и снега нет, но уже так зябко, промозгло, что все живое попряталось. Птицы улетели. Даже грачей не видно: на днях они подались в теплые края. Воробьи забились под застрехи. Только изредка звякнет синичка, или грустно тинькнет снегирь, и опять тихо.

Лес стоит неподвижно. Зубчатые очертания елей перемежаются с золотыми венчиками берез, на которых уже совсем мало листьев.

Неба в такой день не увидишь: тучи низко несутся над землей. Снизу они черно-синие, а выше - серые или снежно - белые. Только на западе, где должно садиться солнце, облака желтоватые или розовые.

Особенно впечатляет картина над Волгой: свинцовая вода с мелкими белыми бурунчиками совсем слилась с небом. Жутковато смотреть в это бесконечное небо.

Все в природе затаилось и ждет первого снега и скорых холодов.

БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ

Если ты готов удивляться, то природа всегда готова тебя удивить. Уж, казалось бы, что нового можно сказать о воробьях. Весной и летом их беззаботного чириканья просто не замечаешь: так оно привычно. В августе забавно бывает понаблюдать, как они «витаминятся», собравшись на лужайках низкорослой травы с мелкими круглыми листьями. Только слышно легкое пощелкивание клювиков да короткая перебранка.

Зимой же эти маленькие попрошайки выются у самых ног и нахально требуют подачки. Они заглядывают вам в глаза, склонив головку набок, а получив горсть семян, налетают стайкой и моментально все уничтожают.

Но то, что я заметила этой ранней и холодной осенью, все же удивило меня. В стайке воробьев, клевавших какие-то семена на длинных травинах, торчащих из раннего снега, я заметила одного.

Прямо под коричневой шапочкой на серой спинке у него лежал яркий белый воротничок, похожий не на перья, а на полоску меха. Я пригляделась. Да, точно такие же воротнички и у других птиц, но только у самцов. Серенькие самочки никаких нарядов не получили.

Что бы это значило? Природа часто намекает нам на какие-то необычные события, но, как правило, мы этих намеков не замечаем. В этом году перелетные птицы как-то уж очень дружно нас покинули. На рябине так много ягод, что ветки гнутся. Синички и снегири слишком рано прилетели к человеческому жилью. Может быть, и воробьи приделались не случайно, а в ожидании ранней и лютой зимы?

НЕЖНОЕ СИЯНИЕ

Что-то затянулась в этом году осень. Уж и деревья уронили остатки листвы, и трава совсем потемнела и пожухла, а снега все нет. Солнца уже давно не было, серые невзрачные дни тянулись бесконечно, а затем незаметно переходили в непроглядные темные вечера и беззвездные ночи.

Ночью над городом бесчинствовал ветер. Он гнал пыль по пустым улицам и громко стучал голыми ветками деревьев. Было так скучно и холодно, что даже в домах за толстыми стенами не удавалось укрыться от осенней тоски.

Перелом в природе наступил внезапно. Еще с вечера немного потеплело, тучи опустились ниже, а ночью от света многих фонарей небо над городом стало не черным, а розовым, как зимой во время оттепели. Когда стал падать снег, мы не знали, но утром проснулись от нежного сияния за окнами. Повсюду: на заждавшейся земле, на черных ветках и серой траве тонким слоем лежал первый снег. Он продолжал падать весь день, а к вечеру, когда похолодало, уплотнился под ногами и захрустел. Кажется, мы наконец-то дождались зимы.

СТЕКЛЯННЫЙ ГРИБ

Поздняя осень - не самое лучшее время для прогулок. В природе повсюду преобладают серые тона: сизое небо, пепельная земля, седая с черным трава. Снег лежит кое-где, и уже не тает. Неприютно, зябко, и из дому выходить не хочется.

Но уж если вы выберетесь в лес или в поле, обязательно увидите что-нибудь необычное. Совсем недалеко от города, в лесополосе, красуется рябина. Листьев на ней вовсе нет, зато ягоды висят тяжелыми багровыми гроздьями. Снег застыл на них круглыми шапочками и похож на мороженое в ярких розетках.

А в настоящем лесу можно увидеть и не такие чудеса. На толстом стволе поваленной березы стоит опенок. Да какой опенок! Большущий, с обеденную тарелку, весь заледеневший и прозрачный насквозь. Толстая ножка гриба накрепко прицепилась к белой

коре. С усилием я все же отделила опенок, полюбовалась им и отнесла поближе к дороге: пусть еще кто-нибудь увидит его и удивится природному чуду.

СНЕГ В ОКНЕ

В начале ноября зима еще не встала. Снег идет часто, но он сырой, а иногда его сменяет мелкий противный дождь или колючая ледяная крупа. Уже довольно холодно: к утру лужи затягивает хрупким льдом, а на земле снег не везде тает, а лежит неопрятными пятнами. Такое время охотники называют чернотропом и любят за то, что на первом непрочном снегу следы всякой живой твари видны отчетливо. Вот размашистые прыжки зайца, вот бисерная цепочка мыши, а вот и птичьи крестики.

В такое время попала я однажды в далекое от городов место, в крепкую деревенскую избу. Народу в нее набилось немало: на улице было неуютно. Шел неторопливый разговор обо всем понемножку, голоса звучали то громче, то тише. Я сидела прямо напротив окна, за которым, не переставая, шел снег. За грязноватой рамой то сеялись белые тонкие струйки, то летели резные пушистые снежинки, то застывало на миг снежное облачко.

Внезапно я почувствовала, что почти не слышу гула голосов, что всей сутью своею ощущаю только завораживающее белое движение в маленьком оконце. Это ощущение было столь сильным, что я даже провела по глазам рукой... А потом, включившись в общую беседу, нет-нет, да и замолкала, вновь взглянув в окно.

Прошло уже немало времени с того дня. Я не помню всех, кто был тогда в избе, не помню, значительна ли была наша беседа, но до сих пор живет во мне ощущение странной гипнотической силы летящего снега за низким деревенским окном...

ГРАЧИНАЯ ЛАПКА

Какой-то недобрый человек расставил силки из крепкой корды, чтобы наловить голубей. Но вместо этих глупых и самодовольных птиц в петлю попал молодой грач. Случилось это совсем не вовремя: грачиные стаи готовились к отлету.

Предчувствуя скорые холода, вожак поднял своих подопечных в воздух, но бедный грач, как ни рвался, не мог сбросить петлю. Двое суток он бился в ветках старой яблони, постепенно теряя силы.

Когда нам сказали об этой беде, мы долго не могли придумать, как же помочь бедной птице. Потом, решившись, отпилили большую ветку, к которой была привязана петля. То, что мы увидели, ужаснуло нас: лапка грача в самом низу была совсем перетерта грубой нитью и висела на кусочке кожи. Расстроенные, мы стояли вокруг птицы, не зная, что предпринять.

Вдруг самый решительный из нас раскрыл перочинный нож и одним движением рассек кожу на птичьей лапке. Грач рванулся и, освобожденный, взлетел. Мы видели, как он улетал все дальше и, наконец, скрылся из глаз.

Спасется ли птица? Станет ли легкой добычей голодного кота? Замерзнет ли? Этого мы знать не могли. Знали только, что избавили ее от долгих и ненужных мучений.

ВОКЗАЛЬНЫЙ ПЕС

У большинства деревенских собак жизнь не сладкая. Хорошо, если хозяин сколотит крепкую будку, где можно укрыться в дождь и ветер. И гораздо хуже, если приходится весь день сидеть на цепи, лениво твякая на прохожих и поджидая, пока люди принесут объедки со своего стола.

И уж совсем худо бездомным собакам. Летом, пока в деревне живут дачники, они подкармливают хорошенького щеночка, а осенью, заколов дом, уезжают. А собаку с собой не берут.

Вот и приходится псу привыкать к холодной и голодной жизни бомжа. Хорошо, если рядом вокзал. Путешествующие - чаще всего люди не злые, да и кое-какую еду всегда с собой имеют. Крутятся возле них собачонки, заглядывают в глаза в надежде получить какую-нибудь подачку. Некоторые держатся с достоинством: хлеб из рук не вырывают и семечки с пола не подлизывают. А для других голод не тетка - на любую еду согласны.

За время моих командировок навидалась я на вокзалах всяких собак: больших и маленьких, породистых и дворовых. Один рыжий кривоногий песик попадаетеся мне на глаза уже третий год. Каждый раз мне кажется, что жизнь его висит на волоске, и больше я его не увижу.

В первый раз он явился на станцию с огромной рваной раной на морде - от глаза до шеи. Рана сильно гноилась, глаз совсем затек, и было видно, что рыжий страдает. Жалостливые старушки бросали наземь кусочки хлеба, печенье - он не брезговал ничем. Когда вокзал опустел, стыдливо оглядываясь, подлизывал с пола крошки и семечки подсолнуха.

Через год этот же пес бродил по станции, волоча перебитую лапу. Помню, был он очень голоден и весь дрожал.

Наша последняя встреча тоже не доставила радости. Подходя к станции, я увидела, что мой рыжий знакомец резво бежит впереди меня. Чем он досадил низкорослому деревенскому отморозку в надвинутой на глаза шапке, не знаю. Только парень изо всех сил пнул несчастную собаку прямо в нос. Пес отлетел метра на полтора, поднялся и, отчаянно скуля, бросился прочь.

Я глянула в безумные глаза человека, обидевшего собаку, и слова застряли у меня в горле. Такая тьма, такая беспричинная злоба плескалась в этих глазах, что стало понятно - следующий удар получу я.

Больше мне не встречался рыжий кривоногий пес. Наверное, он залечит свои раны и, проглотив обиду, придет к людям опять. Деваться-то некуда...

ТАНЕЦ СНЕЖИНОК

Это чувство я испытала внезапно, поздним вечером возвращаясь домой в сильный снегопад. В крошечной тьме я шла, зажмурившись и пряча лицо от ветра. Не знаю, что заставило меня поднять голову и посмотреть вверх. В слабом свете фонарей высоко-высоко, до самых звезд, не видных в такой мгле, плясали снежинки. Они то исполняли замысловатый танец, то замирали белым столбом в лучах фонарей, то распускались невиданным цветком над белыми крышами.

В этот момент я почувствовала себя крошечной пылинкой в беспредельном поднебесном мире. Почти утратив ощущение почвы под ногами и не чувствуя своего тела, я плыла в белесой круговерти вместе с танцующими снежинками. Я казалась себе одинокой, свободной и, в то же время, связанной с бесконечным пространством крепчайшими нитями.

Чувство полета прервалось, как только я опустила голову вниз. Если не смотришь в небо, то никогда не сможешь ощутить себя частью огромного мира, в котором живешь.



Григорий Парамонов

Школа без Митрофанушек

Современные учителя русского языка знают, что примерно 30 процентов всех нынешних школьников, включая выпускников, систематически делают ошибки на проверяемые ударением безударные гласные, то есть не могут выделить корень, поставить ударение, подобрать проверочное слово. А ведь это базовые умения, не владея которыми, нельзя качественно освоить остальную русскую орфографию. Эти же дети обычно не могут распознать подлежащее и сказуемое, то есть в принципе не способны расставить знаки препинания в сложных предложениях. Они с трудом понимают разницу между гласными и согласными. Им остается полагаться только на шпаргалки - и нетрудно представить, в какую муку для них превращается учебный процесс, начиная с первого класса.

Что это за дети? Почему им так трудно освоить родной язык? Лениятся? Но стоит посмотреть, как интенсивно, часто самозабвенно живут они вне уроков, - на переменах, в коридорах школы, на улице, дома, - стоит увидеть, как много сил тратят так называемые «слабые» ученики на то, что им действительно интересно и понятно, включая самые сложные формы человеческого взаимодействия, чтобы понять: причина тут не в лени, а в чем-то другом.

Ситуация эта, безусловно, тесно связана с жизнью социума, в том числе, и с теми изменениями, какие внес в российскую действительность «дикий рынок» времен Ельцина. Каждый второй учитель непременно скажет вам, что современные Митрофанушки не видят особой нужды в том, чтобы правильно строить предложение и грамотно писать, просто в силу того, что на «диком рынке» эти умения востребованы гораздо меньше, чем знание конъюнктуры цен, умение «наварить», объегорить ближнего - эти знания и умения представляются семейному и дворовому окружению современного недоросля гораздо

Григорий Валентинович Парамонов родился в 1955 году в ярославской деревне Кормилицыно. Окончив в 1977 году историко-филологический факультет Ярославского педагогического института, работал учителем русского языка и литературы в школах Ярославля и области, заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе (общий педагогический стаж - 27 лет). В 1997 году окончил аспирантуру МГУ имени М. Ломоносова по социальной философии (специализация - философия языка).

Учитель русского языка и литературы высшей категории. Лауреат областного конкурса «Учитель года», автор опорных схем по орфографии, пунктуации русского языка, теории литературы, концентрической программы по русскому языку для средней школы. В 90-х гг. апробировал авторскую программу по русскому языку в ряде негосударственных образовательных учреждений Ярославля. Автор многих научных работ, деятельный участник ряда областных и региональных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров. Старший научный сотрудник ярославского Института развития образования. Научную и методическую работу совмещает с преподавательской деятельностью в гимназии № 1 г. Ярославля.

Живет в поселке Дубки под Ярославлем.

Предлагаемая статья написана специально для нашего журнала.

более нужными и полезными, нежели «схоластические» запятые и тире. В нынешних семейных библиотеках мало или вообще нет книг, дети ничего не читают, родители ребенка заняты выживанием, а не воспитанием своего чада, на домашние беседы с ним у них практически не остается времени - да подчас мама с папой и не готовы вести такие беседы, будучи сами такими же Митрофанами, только постаревшими на несколько десятков лет. Поэтому-де учитель русского языка, придя на урок, встречается не просто с ленью, а с мотивированным нежеланием юного человека тратить время и силы на разные пустяки, вроде безударных гласных.

Все это так...но не совсем так. Те из учителей, что сеяли разумное и вечное еще в хрущевско-брежневские времена, заметят, что и тогда ситуация была не лучше, что процент «не понимающих», «не чувствующих» язык на том уровне, какой требовала программа обучения в каждом конкретном классе, и в те времена был не меньшим.

Получается, что корень зла не только и не столько в страшном «ельцинском десятилетии», а глубже?

Чтобы осознать глубину проблемы, стоит заглянуть за границы любезного нашему сердцу отечества. Как там обстоят дела с обучением детей родному языку? Согласно опубликованным данным, в США в 1984 году доля функционально безграмотных, то есть нормальных людей, оказавшихся неспособными освоить начала письменной культуры, составила 10 процентов от общей численности населения. Двадцать три миллиона человек, не умеющих систематически читать и писать! И это при колоссальных, по нашим понятиям, затратах на образование. А категория *алитераторных* людей, то есть читающих и пишущих, но без желания, составила там 44 процента.

В ФРГ в том же году число функционально безграмотных равнялось 4 миллионам человек, или 15 процентам от количества граждан старше 15 лет. А в Германии в 1995 году в среднем около 15 процентов восьмиклассников были способны понять прочитанное только на уровне третьего класса. Исследования немецкого «Фонда чтения» привели к так называемой «формуле третьей части»: для трети всех немцев чтение вошло в привычку, одна треть читала от случая к случаю. И еще одна треть не читала никогда!

Итак, проблема интернациональна. И методы ее решения во многом зависят от того, насколько глубоко мы осознаем причины создавшегося положения.

Вернемся в родную школу, войдем в класс, начнем диктант. Несколько десятков голов склоняются над письменными столами. Светлые, темные, рыжие... детские головенки в этот момент кажутся стороннему глазу удивительно одинаковыми. Но каждый учитель знает, что за этой кажущейся похожестью прячется целая галерея индивидуальностей: Петя - оболтус, каких поискать, но, в то же время, прекрасный футболист; Маша - зубрила из зубрил, но зато очень порядочный и честный человек; а вот толстый, прыщеватый Вася... Вася вообще далеко пойдет, способный паренек.

К сожалению, иногда этим знанием дело и ограничивается. А ведь каждый ребенок, кроме яркой человеческой индивидуальности, является еще и носителем черт отдельного *типа человеческой культуры*, или, иначе говоря, носителем отличной от других социокультурной доминанты, устойчивого состояния сознания. Не различая типы культур, не зная их содержательного наполнения, не соотнося сознание конкретных детей с конкретным типом культуры, подчас невозможно помочь учащимся успешно двигаться вверх по лестнице знаний.

Естественно, наблюдая детей из года в год, каждый учитель начинает «сам для себя» делить их на условные группы - по поведенческим стереотипам, по степени увлеченности процессом обучения, по тяготению друг к другу. Но это знание - не научное, это, строго говоря, всего лишь догадки. Положим, системное знание о социокультурных типах еще не утвердилось окончательно в научном мире, идут споры и о принципах отнесения учащихся к различным типам культуры, и о самой необходимости подобного деления - однако прорывы на данном направлении уже есть. Одним из таких прорывов к подлинно научному видению проблемы является, на наш взгляд, осознание того, что *каждый тип*

культуры получает выражение в конкретном типе языка. Иначе говоря, вдумчивый и владеющий современной теоретической базой учитель, вслушиваясь в устную речь каждого отдельного ребенка и фиксируя его достижения и неудачи в речи письменной, вполне способен через некоторое время (с большей или меньшей степенью точности, конечно) отнести своего ученика к тому или другому типу культуры.

Но разве наши дети говорят не на одном и том же языке?

В том-то и дело, что - нет, не на одном. И мы с вами - тоже.

Мысль эта, - что нет и не может быть одного, «единого» языка для всех, - естественно, не нова. В.В.Иванов, автор вузовского учебника «Историческая грамматика русского языка», изданного в 1964 году, сформулировал ее мягко, но принципиально: «Различия в речи носителей русского языка связаны не с тем, что одни владеют нормами национального языка, а другие не владеют, а с тем, что разные носители русского языка владеют разными его разновидностями, но и в том, и в другом случае мы имеем дело с национальным русским языком».

Однако впоследствии, с концом «хрущевской оттепели», эта идея была не только не развита, но и прочно забыта авторами школьных и университетских учебников. Вспыхнувшая было надежда на возрождение многотысячелетней филологической традиции, в одночасье утраченной нашей наукой после печально знаменитой «дискуссии» по вопросам языкознания, развернутой на страницах «Правды» в середине минувшего века, оказалась, таким образом, тщетной: в массе своей наши ученые-филологи вновь двинулись по пути, начертанному в 1950 году нашим Великим Кормчим, на полном серьезе воплощая в жизнь строчки из издевательской лагерной песенки:

Товарищ Сталин, вы большой ученый,

В языкознании познали, видно, толк...

Отказав, вслед за товарищем Сталиным, отдельному человеку (как языковой личности) в праве на индивидуальность, отечественная наука вызвала к жизни действующие и до сих пор образовательные программы, технологии, учебники, нормы оценок, ориентированные на подгонку языков отдельных людей, социальных групп и слоев под некий общий («литературный», «государственный») образец. Результат не замедлил сказаться: под благостным покровом лозунга о «самой читающей стране в мире» созрела и оформилась та самая функциональная безграмотность, о которой мы говорили в начале этой статьи.

Стоит заметить, что идеи уравнивания и подгонки различных разновидностей национального языка под единый образец не принадлежат, безусловно, Иосифу Виссарионовичу - эта традиция имеет более глубокие корни. В Западной Европе действующая ныне система массового образования была развернута примерно триста лет назад, в России она внятно отстоялась к началу второй половины XIX века. Именно тогда формировались идеи позитивизма в гражданском сознании людей и протестантизма (а затем атеизма) - в религиозном сознании. Как и всюду, позитивизм и протестантизм укреплялись в школах и университетах под лозунгами *свободы, равенства и братства*. Свобода в образовании означала его доступность, а равенство и братство - обучение в соответствии с одинаковыми для всех временными рамками, учебным планом, расписанием, содержанием преподавания, нормами оценок. Больше всего этим требованиям отвечала действующая и по сию пору классно-урочная система.

Правда, организаторы массовых школ уже тогда столкнулись с рядом неразрешимых проблем, которые медленно, но верно поставили под сомнение сами основополагающие принципы позитивистского обучения. Идея *свободы* натолкнулась на физическую неспособность ряда учеников овладеть грамотой даже на родном языке, а уж тем более, латинском (в России - церковнославянском). Этих учеников стали принуждать к учебе - и, таким образом, со свободой было покончено. *Равенство и братство* натолкнулись на

практику ликвидации отставания путем второгодничества и перегрузки детей дополнительными заданиями. Результатом же стало массовое псевдообучение: ради принципа доступности в школах пришлось пожертвовать многими академическими приоритетами, сложившимися еще в Средние века - например, отказаться от обучения на языках древних библейских текстов, древнееврейском, латинском, древнегреческом и церковнославянском. Двигаясь этим путем, «просвещенная» Европа, к примеру, в массовом порядке отошла от изучения оригинальных текстов Библии и ее первых переводов - и обратилась к освоению других переводов (выполненных, как правило, протестантами для богослужений на языках национальных литератур Нового времени). Так образовательный процесс начал лишаться смысла, становится ненаучным.

В царской России позитивистские идеи в области языкознания вылились в бессмысленную долбню семинаристами церковнославянских текстов, ярко описанную в знаменитых «Очерках бурсы» Н. Г. Помяловского и в массовое отторжение учащихся и студентов от самого процесса обучения. Да и двадцатый век, со всеми его великими потрясениями, не внес, по сути, ничего нового в эту ситуацию: в головы учеников и студентов вдалбливали принципиально иные, по сравнению с царскими временами, идеи - но по-прежнему *вдалбливали*, по-прежнему заставляя всех без исключения учащихся говорить на одном и том же усредненном языке, невзирая на то, что добрая треть детей просто-напросто не понимала говоримого им и говоримого ими.

Между тем, и в мировой науке, и среди российских ученых продолжала жить и развиваться принципиально иная традиция отношения к заявленной проблеме, опирающаяся на весьма авторитетную духовную и теоретическую базу. Как известно, о том, что уникальны любой человек и его язык, писал еще Аристотель. На том же настаивал и апостол Павел: « По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так *мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены* (Рим. 12;3-5)».

Это - логика системности, которая не терпит однородности, одинаковости, причем речь идет, прежде всего, о неодинаковости внутренней: культурной, духовной. Это внутреннее в любом из нас христианская традиция определяет как *внутреннего человека*: «...если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется (2 Кор.4;16)». Данная тема была традиционной для православной Руси (стоит вспомнить хотя бы митрополита Илариона); она получила развитие и в России XIX-XX вв. Согласно В.С. Соловьеву, именно по причине вечного внутреннего обновления люди нуждаются не в позитивистской «свободе», а в христианском *свободном согласии*, не в протестантских «братстве» и «равенстве», а в православном *братском единении и любви*, объемлющих каждого в его неповторимости.

Романтики XIX века (и не только ученые, но и музыканты, художники, поэты), развивая концепции Платона, Аристотеля, средневековых логиков и теологов, философов и грамматистов Возрождения, постоянно обращали внимание своих почитателей на то, что *дух каждого народа получает выражение в специфичных устойчивых формах его языка*. В России видным представителем этого направления в лингвистике был Ф.И.Буслаев (1818-1897). «Самое раздробление языков, - развивал ту же линию А.А. Потебня (1835-1891), - с точки зрения истории языка не может быть названо падением; оно не губительно, а полезно, потому что, не устраняя возможности взаимного понимания, дает разносторонность человеческой мысли». Ф.Ф. Фортунатов (1848-1914) всегда подчеркивал связь истории языка с историей *внутреннего человека*, полагая, что «каждый живой язык в данную эпоху его существования представляет собой видоизменение языка предшествующей эпохи».

И.А. Бодуэн де Куртенэ (1845-1929) считал, что разные периоды развития языка сменялись так, что каждый создавал что-то новое - то, что при незаметном переходе в

следующий период «составляет подкладку для дальнейшего развития», и именно в этом смысле «можно говорить о слоях языка, выделение которых составляет одну из главных задач языковедения». В развитие этих идей В. А. Богородицкий (1857-1941) выделил пять основных фаз человеческой макроистории: 1) имени-глагола с последующей дифференциацией на глагол и имя; 2) имени и местоимения; 3) разделения существительного и прилагательного; 4) наречий и перехода наречий в предлоги и основы; 5) расширения категории прилагательных причастиями.

Как представляется, именно в этом контексте следует понимать и разработанное А. А. Ухтомским (1875-1942) понятие *доминанты - связанного в себе типа мышления, в котором ход дальнейших выводов, даже интуиций, предопределен не течением событий вне человека, социума, а общим качеством созданных людьми образов.*

Вывод, в его «сухом остатке», прост: постоянно духовно обновляясь, люди - все вместе и каждый по отдельности - регулярно переосмысливают свои представления о мире, и эти изменения столь же регулярно приводят к переосмыслению языка. С поправкой на «марксизм-ленинизм» и «теорию классовой борьбы», именно эту позицию занимали в 30-50-е гг. XX века в официальной советской науке сторонники «нового учения о языке» Н. Я. Марра. По их программам и учебникам было подготовлено несколько поколений ученых-лингвистов и учителей. Но когда стало ясно, что исповедуемая марристами логика системности исключает позитивистское понимание прогресса, не допускает унификации народов и их языков, состоялась уже упомянутая «дискуссия» в газете «Правда», по итогам которой учение Марра «признали ненаучным», а наиболее видные последователи ученого были вынуждены публично каяться.

Жизнь, однако, не стоит на месте. В конце второй половины минувшего века вышли в свет книги, анализирующие результаты *лингвистических культурно-типологических исследований* (см., например, работу Г. А. Климова «Типологические исследования в СССР (20-40-е годы)». М., 1981). Анализ показал, что появившиеся после «дискуссии» в «Правде» школьные и университетские учебники, в которых русский язык был представлен исключительно языком номинативного строя, не отражают истинного положения дел, что все гораздо сложнее. Выяснилось, в частности, что люди строят предложения не только номинативным способом, но еще и *активным*, и *эргативным* - и благодаря этому в индивидуальном и массовом сознании реализуются совсем другие культурные доминанты, то есть образы языка, мира и места человека в истории. Именно эти иные миропонимания и мирочувствования А.Ф. Лосев и определял как *типы культуры*.

Язык номинативного грамматического строя предполагает, по большей части, прямой порядок слов в предложении: когда группа подлежащего стоит в начале и только в начале предложения, а группа сказуемого замыкает предложение, как бы сходясь к концу высказывания в его абсолютной «смысловой точке» - в обстоятельствах, выраженных словами наречного характера. Это «схождение в точку» имеет простой зрительный аналог - привычную для нашего сознания *прямую (линейную) перспективу*. «Умом» мы понимаем, что никакой «точки» в конце сходящихся дорог на горизонте нет, но привычка переносить окружающий мир на плоскость вновь и вновь заставляет нас видеть мир только в одном измерении - это мир, подчиненный законам линейной перспективы, мир, в котором «бесконечно дальше» всегда становится «бесконечно малым».

В отличие от номинативных, *эргативные* конструкции (лучше всего сохранившиеся во многих современных кавказских языках, эскимосско-алеутских, индийских, баскском и других) предполагают принципиально иное направление и способ синтаксической связи - не от подлежащего к сказуемому, а от сказуемого к подлежащему. Это - модель *обратной перспективы*, хорошо знакомая русскому человеку по произведениям мастеров иконописи: здесь на первый план выходит не «ближнее» и «дальнее», а наиболее

значимое. «Большими» здесь изображаются Христос, Богородица, апостолы, святые - т.е. те образы, которые в духовной жизни русского человека имели куда большее значение, чем его непосредственное окружение. И наша иконопись здесь не одинока - стоит вспомнить древнеегипетские и вообще древневосточные изображения царей и их подданных, где рядом с огромной и величественной фигурой царя показаны крохотные фигурки «маленьких» людей, его рабов и подчиненных.

В эргативных конструкциях подлежащее тоже обычно стоит на первом месте, но оно не заслуживает смысла сказуемого и поэтому часто оформляется не именительным, а одним из косвенных падежей - например, дательным. Так, по нормам эргативной грамматики в предложении «Мне холодно» слово «Мне» является подлежащим.

В языке с *активным грамматическим строем* ни сказуемого, ни подлежащего в четко очерченном виде вообще нет - в зависимости от ситуации любой элемент таких предложений может быть понят и как сказуемое, и как подлежащее. В контексте этой культурной доминанты любое высказывание мыслится как одно большое слово, а все, о чем сообщается, понимается как происходящее *здесь и сейчас*. Такой образ мира исключает понятие числа, отменяет дифференциацию «верха» и «низа», «левого» и «правого». Если эргативная грамматика все-таки предполагает деление слов на подлежащее и сказуемое, то доминанта *здесь и сейчас* отменяет эту необходимость: направление грамматической связи тут всецело зависит от конкретной ситуации, структура предложения может быть развернута по законам как прямой, так и обратной перспектив. В мире людей, пользующихся этим языком, нет места письму и чтению, звучащая речь тут не может существовать сама по себе, отдельно от других человеческих действий.

Примеров и того, и другого, и третьего типов языка на старушке Земле поныне предостаточно. Более того, въеве услышать активные и эргативные конструкции (не говоря уж о номинативной) каждый из нас и сегодня может, не выходя за пределы подъезда своего жилого дома - эти конструкции с успехом реализуют грудные дети, в возрасте примерно от года до трех. Общеизвестно, что каждый человеческий зародыш за девять месяцев внутриутробной жизни повторяет все основные этапы эволюции живой материи на Земле, - но почему-то менее известно, что каждый ребенок в течение первых семи лет жизни может повторить всю языковую историю человечества (хотя и способен остановиться на любом из ее этапов).

На ранних стадиях развития у всех детей формируется древнейший тип культуры - так называемый родовой. Родовой человек предрасположен видеть живое во всем - в ветре, воде, земле и камне; живое единство космоса ребенка на этом этапе образуется из компонентов внешне живого. Такой человек пользуется языком с активным строем - слова его аморфны, диффузны, не имеют устойчивой предметной отнесенности. Если ваш малыш играет с лошадкой и говорит «тпру», то это может означать и «лошадь», и «сани», и «садись», и «поедем», и «остановись», - в зависимости от того, в какой ситуации и с какой интонацией произносится слово, какими жестами сопровождается.

К концу второго года жизни этот же ребенок (если он достаточно активно осваивает современный русский язык) обычно начинает различать элементарные части слов - и начинает употреблять слово «тпрунька», добавляя суффикс к диффузному «тпру». «Тпрунька» уже не может означать «садись», «поехали», «остановись» - а только «лошадь», «сани» или «тележку», то есть приобретает черты существительного. Затем у дитяти появляется потребность в более или менее четко выраженном речевом обозначении действия - и счастливый родитель слышит уже нечто вроде «тпрунька шля», радостно кивая в ответ: да-да, милый, лошадка ушла. Как тут не вспомнить Платона и платонистов, признававших, как известно, только две части речи - «имена» и «глаголы», причем под «глаголом» понималась искаженная часть «имени», обозначающая движение (без дифференциации на современные «наклонения», «времена», «причастия» и «деепричастия»), а «имена» не были разделены на «существительные», «прилагательные»,

«числительные» и «местоимения». Из «имен» и «глаголов» ребенок начинает строить то эргативные, то номинативные конструкции, реализуя то линейную перспективу, то обратную, заботясь прежде всего о том, чтобы окружающие его поняли.

И лишь позже, постоянно вслушиваясь в звучащую рядом речь родителей, других детей, других взрослых, повторяя за ними все новые и новые незнакомые слова, приспосабливаясь к реалиям окружающего мира, маленький человек все чаще и чаще начинает использовать только одну - номинативную, линейно-перспективную форму родного языка.

Впрочем, никуда не исчезают и активные, и эргативные конструкции. В домашнем и дружеском общении человек - как маленький, так и большой - вполне способен (и даже порой имеет склонность) переходить на полузабытый, малопонятный третьим лицам язык родовой культуры. Разве не на этом языке говорят влюбленные в минуты особой близости? Разве не превращается кандидат наук, только что ставший счастливым отцом и говорящий своему чаду нечто вроде «у-тю-тю», в носителя языка с активным грамматическим строем? Разве наш повседневный, «кухонный» и особенно бранный язык не полон эргативных предложений?

Ответ на эти риторические вопросы может быть только один: язык взрослых не «сплошь номинативен», он многослоен и таит в себе глубины языковой истории.

Безусловно, в истории общества усложнение языковых конструкций потребовало тысячелетий - язык развивался в тесной связи со сменой конкретно-исторических форм бытия социума. Родовой тип сознания, вследствие инкорпорирования (то есть простого арифметического *сложения, сращивания, смешения*) родов в недрах первых «государств» сменялся внеродовым, «государственным». Эта социокультурная доминанта, описанная в Греции тем же Платоном, а в Китае Конфуцием, заметно отличалась от предыдущей: ее носители стали нуждаться в понятиях пространства, времени, числового ряда. Именно в это время людям для общения в социальном пространстве внеродовых отношений потребовался другой, максимально доступный всем, *общий* для всех язык. И такой язык обязательно возникал - чаще всего, на основе переосмысления в терминах эргативной грамматики одного из родовых языков (или на основе заимствования чужого языка, имевшего готовую литературную форму). На этом этапе возникает и способность к письму - но еще не фонематическому (алфавитному), а подобному клинописи или иероглифам. Это письмо выступает в роли «шпаргалки»: человек в это время еще не умеет думать и читать «про себя» - и читает вслух, громко, буквально крича (не случайно из всех жанров древнешумерской литературы наиболее полно представлены гимны и плачи, рассчитанные на проговаривание жрецом или хором).

Новый, «государственный» человек не порывал с родом, его культура могла совершенствоваться в форме родового традиционализма - но эта традиционность уже исключала присущую родовому бытию тотальную «текучесть» вещей и их наименований. Если род молился дикому камню, дереву, животному, то «государственный» человек поклонялся уже особому субъекту - «небу», либо некоему «небесному человеку», антропоморфному существу, и нуждался в стационарных идолах, то есть в конкретных образцах, на которые следовало равняться. Симптоматично, что Конфуций, полагавший, что основа порядка в стране - церемониал, ритуал, почтительность, благопристойность (по китайской терминологии - «ли»), возлагал ответственность за осуществление принципа «ли» на «благородных мужей», понимающих и принимающих ритуал, а объектом оценки действий таких мужей считал как раз язык и речь: «Благородный муж проявляет осторожность по отношению к тому, чего не знает. Если имена неправильны, то слова не имеют под собою оснований. Если слова не имеют под собою оснований, то дела не могут осуществляться. Если дела не могут осуществляться, то ритуал и музыка не процветают, наказания не применяются надлежащим образом. Если наказания не применяются надлежащим образом, народ не знает, как себя вести».

Многослойность культуры, возникающую вследствие остановки некоторых людей на уровне исключительно родового этапа, замечали уже и тогда; об этом говорит известная древнекитайская притча: «Когда Цзай Во спал днем, учитель сказал: «На гнилом дереве не сделаешь резьбы, грязную стену не сделаешь белой. К чему ругать Во?». А если мы перенесемся в Древний Рим, то увидим, насколько естественным был для его жителей переход из одного слоя в другой на протяжении всего лишь нескольких часов: дома, среди близких, во время трапезы, общаясь в мире *здесь и сейчас*, римлянин пользовался вульгарной латынью, нарушающей законы линейной перспективы - но выходя на форум и надевая официальную тогу, употреблял латынь классическую. Так повсюду в мире утверждалась культурно-типологическая многослойность, находящая непереносное отражение в языке, который по-прежнему называли *общим*.

Заметим, что сколько-нибудь фиксированный порядок смены одной конструкции другой установить не представляется возможным: каждый человек и каждая социальная группа до сих пор пользуется *общим* языком так, как считает нужным, или, точнее говоря, как диктует им тот или иной тип культуры. К примеру, зулусы и ныне живут в мире, лишенном новоевропейской линейной перспективы: «Их мир можно охарактеризовать как «культуру круга»: их жилища круглые, двери тоже круглые, они распаивают свою землю не прямыми, а закругленными бороздами, и лишь немногие предметы их обихода обладают углами и прямыми линиями». Они по-своему видят окружающее: «Когда их вывели из леса и показали им объекты, расположенные на большом расстоянии, они воспринимали их не как удаленные, а как маленькие» (Р. Грегори, «Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия». М., 1970). Понятно, что такое мироощущение прямо отражается в языке зулусов, они иначе воспринимают мир и иначе говорят. А вот другой пример, из практики автора настоящей статьи: современный ярославский пятиклассник называет «пельмень» глаголом и, в ответ на просьбу учителя как-то мотивировать сие открытие, радостно восклицает: «А потому, что он в кастрюле крутится!» Глупость? Но, с точки зрения платонистов, это высказывание близко к истине: ведь «имя», которое означает «движение» - это как раз и есть «глагол». Так и хочется воскликнуть: «Какое, милые, у нас тысячелетие во дворе?» И добавить: каждый живет в своем собственном тысячелетии - в том, до какого сумел дорасти...

Третья социокультурная доминанта наиболее адекватно описана Аристотелем, и поэтому этот тип культуры может быть условно назван «аристотелевским». Этот мыслитель и его последователи отказались от диктата неизменных «образцов», утверждавших исключительно приоритет «государственного» над родовым и индивидуально-личностным, стали оперировать понятием «внутренняя форма», развили близкое к современному понимание системности. Аристотелевский «один человек» остается членом семьи и владеет ее языком; как субъект внеродовой деятельности, он знает и умеет применять *общий* язык платоновского «государства» - однако дистанцируется от платонизма и формирует язык номинативного строя. Самоидентифицируясь, он приобретает и постоянно совершенствует способ выражения собственного «я» - язык для себя.

Как и Платон, Аристотель видел, что в разных социальных пространствах люди по-разному говорят и мыслят. Но, в отличие от своего учителя, он не стремился подогнать всех под один шаблон, а утверждал, что, дополняя друг друга, люди ценны именно своей внешней и внутренней неоднородностью. Это необходимо для взаимодействия в непохожем на платоновский, «объемном» мире, выстроенном строго по законам линейной перспективы. Этот единый социум предполагает, например, что все индивиды различаются по качеству, чему соответствуют три основных образа жизни: 1) скотский, когда «люди весьма грубые» разумеют под благом и счастьем чувственное удовольствие, 2) «государственный» (по Платону) и 3) созерцательный. Последний должен преобладать над обоими «предыдущими», продолжающими существовать в нем в «снятом» виде.

Согласно Аристотелю, «государство», не опирающееся на чувственную семью и индивидов-созерцателей, может создать только видимость порядка, стабильности и единомыслия; в идеале необходимы все три компонента. Но то же самое мы с вами можем и должны сказать о национальном языке, адекватном рассматриваемой доминанте: уникальный язык каждого человека обязательно включает в себя несколько слоев, рожденных «в предыдущую эпоху». В противном случае он теряет «объем», незримую, но вполне реальную систему связей с языком (а значит, и мироощущением) других эпох, народов и поколений.

Четвертая социально-культурная парадигма, наиболее массово реализуемая в период «Нового времени», предполагает развитие всего «прежнего» опыта человеческой жизни, включая тот, что выражался в активной и эргативной формах языка. Без этого, как замечал А. Швейцер, нет «полемики с действительностью». Забвение «старой» полемики, отказ от нее грозят возвратом к предчеловеку - и, напротив, любовь к «старому» как «классическому», благоговение перед ним (так же, как перед ныне живущим его носителем - одним человеком, группой, социальным слоем, всем обществом) означает, в конечном счете, благоговение перед жизнью. И здесь опять придется воспользоваться определением А. Швейцера: «Поистине нравственен человек только тогда, когда он повинуется внутреннему побуждению помогать любой жизни, которой он может помочь, и удерживается от того, чтобы причинить живому какой-либо вред».

Не отвергая «классических» мироощущений, носители четвертой социокультурной доминанты формируют принципиально новый мир и язык, отвечающие логике взаимодействия «бесконечно малых» - логике, все более выявляющей в человеке личность, способную самостоятельно определять глубину и характер, типологию отношений с действительностью. Такие люди ощущают всем своим существом, что «каждый человек, индивидуально существующий перед нами, есть новый, вполне исключительный случай» (А.А. Ухтомский), что бытие творит не платоновский «небесный человек» и не аристотелевский «один человек», а пушкинский «каждый человек» - тот, что и после своей физической смерти остается частью духовного основания соборного человечества. Именно об этом мечтал русский философ-космист Н. Федоров, когда в своей «Философии общего дела» ставил задачу «воскрешения всех отцов», до ветхого Адама включительно.

Вернемся, однако, в родную школу. Что может и должен сделать учитель, осознающий необходимость изменения существующей ситуации, на своем, как говорится, рабочем месте? Не претендуя на исключительность в подходе к распутыванию сложнейших «узлов» педагогической теории и практики, завязанных на протяжении веков, автор настоящей статьи придерживается, тем не менее, вполне определенных взглядов на методику решения поставленной проблемы. На наш взгляд, построить по-настоящему современную массовую школу можно только в том случае, если содержание преподавания будет не упрощено, не подогнано под мертворожденную позитивистскую догму, а приведено в соответствие с мироощущением каждого ребенка. Наиболее оптимальным представляется вариант, когда дети, быстрее других продвигающиеся в конкретных областях знаний, физически (по возрасту) могли бы пребывать в стенах начальной, или девятилетней школы, общаться со сверстниками, но по уровню своей подготовленности по отдельным школьным предметам (с учетом содержания и форм преподавания последних) имели бы возможность переходить в следующий класс даже в середине года, - либо, напротив, получать ярко выраженный «щадающий» режим обучения.

Накопленный в ярославской региональной системе образования опыт ЛСМ (лингвосоциометрии) уже сегодня позволяет это сделать. Обозначив парадигмы первого лингвистического социокультурного «родового» типа как 1 ЛСКТ, второго, «платоновского», как 2 ЛСКТ, третьего, «аристотелевского», как 3 ЛСКТ, и четвертого,

«типа Нового времени», как 4 ЛСКТ, преподаватели русского языка и литературы ряда ярославских школ провели мониторинговые эксперименты и определили уровни владения детьми базовыми понятиями, умениями и навыками, необходимыми для письма, чтения, понимания текстов учебной, научной и художественной литературы. Результаты представлены в таблице 1:

Таблица 1

классы	1 ЛСКТ, %	2 ЛСКТ, %	3 ЛСКТ, %	4 ЛСКТ, %	всего уч-ся
начальные	6	41	45	8	159
средние (5-8-е)	11	36	40	13	346
9-е (выпускные из основной школы)	20	30	44	6	84
итого по всем классам	12	36	43	9	589

Из таблицы видно, что учительницы начальной школы не всегда распознают детей, реализующих парадигмы 1 и 2 ЛСКТ, не замечают у них признаков дислексии, то есть неспособности писать, а часто и говорить, оперируя средствами современного русского литературного языка; работать со всеми детьми примерно одинаково позволяют относительно небольшие объемы учебной нагрузки. В средних классах количество «дезадаптантов» возрастает почти в два раза, в девятом классе их становится 20 процентов (против 12 процентов в целом по школе). Иными словами, учащиеся живут и действуют в одном социокультурном пространстве, применяют одни средства языка (например, формы активного или эргативного строя), а их педагоги пользуются другими (номинативного строя) и применяют аристотелевскую логику (3 ЛСКТ), разработанную исключительно для «объемных» социокультурных действий.

Специально разработанная «Карта ЛСМ» позволяет осуществить комплексный лингвистический анализ устной и письменной речи школьников, определить их конкретный личностный ЛСКТ:

Таблица 2

Фамилия, имя, код (тип культуры)			
Школа, класс, возраст			
1 ЛСКТ	2 ЛСКТ	3 ЛСКТ	4 ЛСКТ
родовые сознание и социум; язык активного строя.	внеродовые "платоновские" сознание и социум; мышление инкорпорациями, язык эргативного строя, выстроенный в соответствии с принципом обратной перспективы.	"объемные" (аристотелевские) сознание и социум; язык номинативного строя, выстроенный в соответствии с принципом прямой (линейной) перспективы.	миропонимание и мироощущение Возрождения, Нового времени; поликультурные язык и социум, способствующие разделению социальных пространства и времени.
Особенности чтения			
с трудом или совсем не читает	читает по слогам	читает целыми словами	читает с учетом смысловых, синтаксических, интонационных особенностей любого текста
Особенности письма			
с трудом или совсем не пишет	пишет, разделяя буквы	не всегда соблюдает пробы между словами	пишет на одном дыхании: текст как слово, но легко обозначая его смысловые и структурные особенности
Фонетика			
не дифференцирует гласных и согласных; не может разделить слово по слогам	делит слово по слогам, но не может обозначить динамическое ударение; не различает звук и букву, глухих и звонких согласных; не распознает редукцию гласных	допускает ошибки при обозначении динамического ударения, не понимает роли йотированных букв	позиционирует музыкальное и динамическое ударения, распознает сильные и слабые позиции гласных и согласных
Состав слова			
не может выделить корень	не распознает типовых суффиксов и приставок	с трудом выделяет окончания; забывает о нулевом окончании	оперирует всеми словообразовательными моделями современного русского языка
Дифференциация частей речи			
не отличает имен (например, существительных) от глаголов; путает приставку (в глаголе) и предлог (к существительному)	не дифференцирует имен (существит, прилаг., числит.); с трудом отличает прошедшее время глагола от настоящего; с трудом выделяет и дифференцирует местоимения	с трудом дифференцирует виды глаголов (совершенный и несовершенный); с трудом отличает настоящее время глагола от будущего	отличает категорию состояния от наречий, кратких причастий и прилагательных
	не может усвоить современных причастий и деепричастий; не дифференцирует всех форм глаголов (по всем наклонениям)	с трудом, но усваивает современные причастия и деепричастия	
Синтаксис			
не распознает грамматическую основу предложения	не выделяет в предложении словосочетаний или делает это с большим трудом	с трудом дифференцирует второстепенные члены предложения; не сразу понимает виды грамматических связей в словосочетаниях, грамматические значения словосочетаний	различает разные виды грамматического строя: активного, эргативного, номинативного и др.

В целях перепроверки первоначально полученных результатов замеры производятся не один раз. Он соединены с образовательным процессом и, таким образом, лингвосоциометрия закономерно перетекает в фазу мониторинга. Здесь начинает действовать система «Электронный журнал» - база данных для изучения динамики движения учащихся по индивидуальным образовательным маршрутам и один из главных элементов создания новой образовательной технологии, снимающей состояния дезадаптации.

Таблица 3

Учебные предметы	Русский язык							Литература		Математика			...	
	фонетика	морфология	синтаксис	стилистика	орфография	пунктуация	общие сведения
разбиение учебных предметов на разделы →							
ЛСКТ-парадигмы учебных предметов →														
Фамилии, имена (списки по ЛСКТ-группам) ↓														

Практика показывает, что дети, реализующие культурные парадигмы 3 и 4 ЛСКТ, могут освоить школьную программу в два-три раза быстрее, чем обычно. Это может быть зафиксировано в школьном компьютере, в специально разработанных документах внутришкольного контроля. После стандартных переводных работ (по заключению учителя, методического объединения, школьной администрации, педагогического совета, кураторов из муниципальной и региональной систем образования) ученики, не ожидая конца учебного года, могут перейти в следующие классы по одному, нескольким или сразу всем предметам.

Входное тестирование учащихся с помощью «Карты ЛСМ» (ЛСКТ-теста) проводится именно для оформления «Электронного журнала». В первый столбец таблицы заносится список класса, в следующих фиксируется движение детей по индивидуальным образовательным маршрутам. Так выявляются ЛСКТ-парадигмы учебных предметов (отнесенность отдельных тем к конкретным этапам в истории культуры) и уровни компетентности школьников (перечни освоенных ими знаний, умений, навыков) в каждой из образовательных областей. Журнал заполняется не привычными оценками, а избранными учителем (школой) символами - обозначениями реально изученных детьми тем, что позволяет создать условия как для опережения, так и для щадящего режима преподавания. В принципе можно выбрать любой индивидуальный темп работы, ограничителем здесь будут только возможности учебного заведения. Объединив

электронные журналы нескольких школ, можно располагать источником объективной информации о качестве образования в городе, в муниципальном округе, в регионе.

В настоящее время в школах, ставших экспериментальными площадками Ярославского областного Института развития образования, апробируется матрица «Электронного журнала» по русскому языку. Аналогичные материалы готовятся по другим учебным предметам. Учителя реализуют при этом разные логики преподавания: применяют традиционные технологии, программы, учебники и методики, разрабатывают новые - но каждый раз получают похожие результаты: *дети, оперирующие, как минимум, языком номинативного строя (3, 4 ЛСКТ) показывают существенное опережение и освоение недоступных ранее объемов знаний; у детей, реализующих парадигмы 1 и 2 ЛСКТ, исчезает состояние дезадаптации, резко повышается интерес к учебе и качество знаний.*

К таким итогам пришли: в Кузнечихинской средней школе Ярославского муниципального округа - учитель Ю. А. Воробьев по теме «Словообразование» (русский язык, 6-й класс), в средней школе № 9 г. Переславля-Залесского - учителя Е.Е. Коршунова и М.В. Кабанова по теме «Фонетика» (русский язык, 5-й и, в режиме углубления, 7-й классы), С. И. Руднева по теме «Правописание безударных гласных в разных частях слова» (русский язык, 3-й класс), в гимназии № 1 г. Ярославля - автор этих строк по темам «Повторение материала начальной школы», «Синтаксис и пунктуация», «Фонетика», «Лексика», «Словообразование», «Морфология», «Развитие культуры речи» (русский язык, 5-й класс), «Комплексный анализ литературных текстов» (литература, 5-й класс).

Действующие в массовой школе методики и учебники не способствуют дифференциации школьников по типам культуры, но профессионально работающий учитель не может не видеть, что одни и те же блоки информации разные дети воспринимают по-разному. Лингвосоциометрия помогает объяснить этот не столько психологический, сколько социокультурный феномен. А зная причины, даже в рамках традиционных образовательных технологий можно откорректировать некоторые нежелательные последствия - по крайней мере, более гибко применять действующие системы оценок. В то же время ЛСМ дает возможность продвинуться дальше - к созданию условий, когда в течение одного учебного года без дополнительных уроков и заданий можно отработать учебные программы, на которые обычно тратится несколько лет. Например, известно, что есть дети (3-4 ЛСКТ), которые в пятом классе могут писать сочинения и изложения на уровне восьмого-девятого классов (2,0 - 4,0 стр.), оперируя обособленными конструкциями и сложными предложениями с разными видами связей. Нет смысла снижать для них планку и непременно требовать работы объемом 0,5 - 1,5 стр. Существуют формы концентрации учебной информации, при которых русские орфография и пунктуация могут быть даны за 30-40 уроков. И если есть ученики, которые могут такой возможностью распорядиться, они должны это сделать.

Искусство управления современной школой заключается в том, чтобы в ней нашлось место всем детям, - и чтобы при этом она работала эффективно и экономически целесообразно. Конечно, для этого необходимо очень гибкое администрирование. Концентрические технологии, программирование, дистанционное обучение требуют новых форм отчетности (ибо здесь уже невозможны действующие формы тематического и поурочного планирования, внутришкольного контроля). Учитывая феномен дизлексии, другие особенности языка и сознания детей, приходится конкретизировать для них учебные программы, расписание, нормы оценок. Данные ЛСМ и лингвистического социокультурного мониторинга позволяют разработать и это: не только определить содержание преподавания, составить удобные для всех учебный план и расписание, но и создать комфортный психологический климат. Если детям нужен педагог, способный развернуть обучение в соответствии с древнейшим родовым принципом «делай, как я» и положиться исключительно на возможности звучащего слова (по 1 ЛСКТ), - он имеет на это право. Если предпочтителен диктат образцов (платоновских идей, конфуцианского ритуала), допустимо и это. Иначе трудно, например, научить каллиграфии. В рамках ЛСМ

как образовательной технологии все наработанное многими поколениями учителей понимается как различные способы активизации и реализации нескольких принципиально разных миропониманий и мироощущений, которые, возникнув однажды на одном из этапов развития общечеловеческой культуры, никуда потом не исчезали, постоянно возобновляясь в человеческом взаимодействии, прежде всего, в языке и речи. Задача, собственно, в том, чтобы все это соединить в одном образовательном процессе. ЛСМ допускает классно-урочную систему, концентризм, цикло-поток, программирование, коллективные способы обучения, разновозрастные группы, - все, что позволяет в оптимальные сроки осуществить обучение и воспитание в условиях конкретной школы без ущерба для физического, психического и духовного здоровья детей.

Школа - это часть общества и все, что в ней происходит, имеет отношение к каждому. Сегодня ситуация взаимного непонимания характерна не только для системы образования. И если мы действительно хотим всеобщего гражданского мира, а не глобальной гражданской войны, надо уже в школе дать детям возможность ощутить полифонию, многообразие их внутренних «я», то есть дать им опыт индивидуальной и общественной языковой и культурной рефлексии. Без такой рефлексии нельзя осуществить саморазвитие и преодолеть грех нарциссизма и нетерпимости: самолюбование и безграничную уверенность многих в том, что право на существование имеют только они и их культура.

АВГУСТ

Так же ночи недолги и
зелен лес,
так же
в светлых долинах
трава густа...

На сосну патриаршую
мальчик
влез,
чтоб в глаза заглянуть
небу августа!

Ветер кепку сорвал с него,
прям и груб,
руки цепкие
выпачкались
в смоле.

...В тех глазах был покой
и такая глубь!
Их ресницы
дождями влеклись
к земле.

Не смолкая, пел ветер:
«Благословен
над землею вовеки
небес
покров,

чью высокую плоть
мириады вен
пронизали,
неся
дорогую кровь!»

И подумалось мальчику:
«Как в раю,
хорошо здесь...»
А в сердце -
лучился Спас.

Потому, что дотоле
в родном краю
никогда он не видел
подобных
глаз.

Точно не было в мире
души родней,
ничего
лучше речи ее
простой.

Потому, что над скудостью
наших дней
глубина их
не может не быть
святой.

.....

Так же ночи недолги и
зелен лес,
так же
в светлых долинах
трава густа...

ИЗ ЦИКЛА «РУССКИЕ МЕТЫ»

Житейская

Все мы, заложники давних чудес,
Как-то живем и с деньгами, и без,
Что-то вкушаем и что-то пьем,
С кем-то досужие песни поем.
Набожно стачивая резцы,
Как-то разводим, как-то разводим,
Как-то разводим и сводим концы!

Исповедальная

Оскудели, обнищали дочиста,
Выпростили души на убой.
Подлое, тупое одиночество
Называем волей и судьбой.
Никакою не измерить мерою,
Сколько зла мы держим про запас...
Обнищали, оскудели верою.
- Сатана, порадуйся за нас!

Бренная

Слушаются руки, или нет,
Ясно ли сознание, темно ли -
Все равно неодолим твой гнет,
Черное кладбищенское поле.
Трудным словом сердце веселя,
Много на пути я горя видел...
Приголубь и ты меня, земля!
Разве я когда тебя обидел?

* * *

Бог не выдал, но съела свинья.
Погляди: уцелели немногие.
Это те, что, сердцами звеня,
В золотые вошли антологии.

Если будут еще твои дни
Так светлы, если ты еще светишься -
Не забудь и о том, что они
Помнят тоже... Что с ними ты встретишься!

ИЗ ПИСЬМА К ДРУГУ

Как видишь, точно в срок
Пишу к тебе, Сережа...
Богатство - не порок
И бедность, в общем, тоже.

Пусть даже обмануть
Нас мог бы принцип некий,
Мой друг, не в этом суть!
Все дело в человеке.

Когда, кипя в сердцах
То патокой, то желчью,
Одни имеют страх,
Другие - хватку волчью,

Когда в делах земных
(Не тотчас же, так вскоре)
Удача ждет одних,
Других постигнет горе, -

Попробуй, оцени
Коллизии такие! -
Когда поют одни
И слезы льют другие.

А что, коль суррогат
Вся эта жизнь, Каледин?
Тот беден, но богат.
А тот богат, но беден.

* * *

Далеко-далеко, за деревнями,
За раздольем полей, за рекой
Я люблю с вековыми деревьями
Разделить благодать и покой.

Плат небесный у них в изголовии,
А в ногах - сила пядей земных!
Разве можно поверить в безмолвие,
В немоту и беспмятство их?

Монополии русского раменья
Мой низайший поклон! Неспроста, -
Но молитвенным как бы старанием
Этих елей сбылась красота.

Жизнь лесная - мудрей и степеннее.
Расскажу им о доле людской,
Расскажу о труде и терпении...
И они согласятся со мной.

* * *

Фюзеляжи легкие, ножевые крылья -
Ласточек пронзительно кричащих эскадрилья!

Боевые вылеты, учебные пилоты
Ловко совершают безымянные пилоты;

Только посмотрите, с безупречностью какую
Полосы посадочные скрыты под стрехою, -

Вымощены глиною, со слюною сладкой...
Сколько в небе радости разбрызгали касатки!

Сколько зреет правды беспечальной в душах птичьих!
Как звучит восторженно и смело каждый клич их!

Разве мир - скажите же - от слез не захлебнется,
Если вдруг одна из них
на базу не вернется?!

* * *

По лесной дороженьке - в село,
От села - к кладбищенскому полю.
Это ли не наше ремесло?
Братцы, наработаемся вволю!

Выкорчем лес. Поставим дом.
Вспашем и засеем рожью поле.
Животы и спины надорвем
Верностью великой нашей доле!

А потом, философам под стать,
На вопрос, что силы нам давало,
Станем все едино отвечать:
- Просто жизнь, которой жизни - мало!

ПОЭЗИЯ



Любовь Цветкова

Искрящийся воздух

ГЛАЗА

Легко и праздно по листу скользя,
Мой карандаш чертил пустые знаки.
И вдруг страданья полные глаза
Вмиг проступили на лице бумаги.

В огонь ее! Иначе быть беде!
Но бесится в немом бессилье пламя.
Не растворились очи и в воде,
Лишь доверху наполнились слезами.

А что еще мне суждено понять?
Живущая своею тайной жизнью,
Прозревшая бумага на меня
Все смотрит, смотрит, смотрит с укоризной...

* * *

День наступает – я отступаю в ночь.
Силы неравные: день – это участь многих.
Нервы скрипят, расшатанные – точь-в-точь
Как половицы, чужие почуяв ноги.

День наступает на пятки, а в них – душа.
О, Ахиллес, ты единственный знал об этом!
Я на свету – оболочка, воздушный шар.
Днем все прозрачно, и все – никакого цвета.

День наступает, и как предсказуем он:
Вычеркни – и не заметишь, один среди прочих
Мерно шагающих, имя им – легион...
Неповторимы бывают одни лишь ночи!

Любовь Сергеевна Цветкова родилась в 1976 году в Рыбинске. В 1998 году окончила факультет русской филологии и культуры Ярославского государственного педагогического университета им. К.Ушинского, защитив дипломную работу на тему «Творческий путь Н.С.Гумилева». Работала учителем русского языка и литературы в школах Ярославского района.

С 1993 года публикует стихи в местной периодике. В 2002 году участвовала в работе областного семинара молодых литераторов.

Живет в Ярославле.

ПЕСНЯ

Похрапывал муж, и ребенок беспечно сопел.
Давно бы ей лечь: на работу к восьми и устала.
Но голос безвестный все песню волшебную пел,
И к звукам она пересохшей душою припала.

Откуда мелодия эта? Приемник, чихнув,
Ответил змеиным шипеньем и залпами пыли.
Угрюмо молчащая тьма привалилась к окну.
За стенкой не пели. Хотя, как всегда, много пили.

И ей показалось, что музыка льется с небес...
Вдыхая пропитанный чудом, искрящийся воздух,
Она уходила все дальше - все ближе к себе,
По темной, заплыванной лестнице к музыке, к звездам.

Похрапывал муж, и ребенок беспечно сопел,
Когда неумелые крылья скользнули по крыше.
...А голос безвестный все песню волшебную пел,
Но только теперь ее некому было услышать.

* * *

Как предсказуемо все, что случится со мной,
Если сейчас не шагну за порог, за границу...
В тихом отчаянье рву я из клетки грудной
Сердце свое – безыскусную птицу-синицу.

Как отпустить ее в небо, навстречу судьбе?
Вдруг не снесет она доли лихой, журавлиной?
Знаю: останусь в кирпичной своей скорлупе –
Время потянется нитью суровой и длинной.

Вновь – аритмия часов в гробовой тишине,
Глаз фонаря-соглядатая, призраков стая...
Вот оно, счастье, что, верно, достанется мне –
Падать и падать, в безоблачном небе витая,

Медленно стариться: пыль, нафталин и зола,
Выцветший преданный кот, сучковатая палка...
Станет страданье привычным, как ветхий халат –
Тот, что глаза намозолил, а выкинуть жалко.

Если шагну – не погибну ли в вечной тоске?
Так и запомни меня: у распахнутой дверцы
Здесь, на пороге, сжимающей в хрупкой руке
Бьющее крыльями, нетерпеливое сердце.

* * *

Быть тобой. Не с тобой – это слишком убого.
Не молиться на бога, а стать этим богом.

Не постелью твоей. Не с тобою в постели,
А тобой – твоим сильным распластанным телом,

Чтобы чувствовать кожей все складочки ткани,
Прикасаться к подушке твоими руками,

Ощущать твоей плотью тепло одеяла...
Быть тобой. Не с тобою – мне этого мало!

Всей растаять в тебе – твоей кровью по жилам,
Твоей болью и счастьем, судьбою и жизнью.

Быть тобой – вне тобой отведенного места –
Не со-чувствовать вместе, а чувствовать – вместо.

Обними! Между нами границу разрушим!
...Но чем ближе тела, тем отдельнее души.

* * *

Близорукая осень глядит на меня сквозь туман -
Видно, я меж увядшей листвы проступаю нечетко.
И сливаются в алую боль растревоженных ран
На прозрачных рябинах греховно горящие четки.

Крики птиц-дезертиров, уныло текущих на юг
В топком месиве неба... Но шуруется осень напрасно:
Только сизая поросль дождя и тумана вокруг,
Только серая мгла... Все размыто, непрочно, неясно.

Так смирись: твой удел - слепота. Безразличие дней,
Ледяная пустыня судьбы, что глуха и убога...
И тарачатся голые бельма, и чудятся ей
Верный пес-поводырь, путеводная трость и дорога.

Расплывается мир на глазах - не трудись удержать, -
Возвращается в хаос, в бессвязность... Мгновенье до слова!
Свет становится тайной, гипотезой... Словно опять
Это мир до творенья.

И мир начинается снова.

ПОРТРЕТ

Вот, взгляните: не правда ли, напоминает меня?
Присмотритесь: портретное сходство неопровержимо -
Этот горестный профиль, глаза, что полмира хранят
В своих недрах, и волосы - словно из пепла и дыма.

Как все схвачено верно! Точнее и не передашь -
Кожу рвущие скулы и вечно усталые веки,
Руки-плети и плечи...Вы что-то сказали? Пейзаж?
Никакого портрета? Название: «Птица на ветке»?

Неужели? Минуточку! Дайте надену очки...
Да, действительно: здесь перед нами - обычная птица,
Заурядный пейзажик: травинки, листочки, сучки...
Но постойте! А кто же за деревом этим таится?

Кто бежит, задыхаясь, по черному лесу от вас
И ломает картинные рамки - не слышите хруста?
...Нервы сдали, простите. Но как ваш наметанный глаз
Не признал меня в этом рисунке, ценитель искусства?

* * *

Уснуло небо на моих руках.
Бестрепетно стою - не потревожу
Дыханием на веках-облаках
Прозрачную светящуюся кожу.

Мелькну звездой в его мгновенном сне,
Скользну слезинкой в поднебесной кроне...
... Когда-то посчастливится и мне
Уснуть навеки на его ладони.

ПОЭЗИЯ



Наталья Ширшова

Оранжевое солнце - далеко...

ЯНВАРСКИЙ ВЕЧЕР

Вечерний город притих, замерзший,
Снежинки кружат в безумном ритме.
Не можешь плакать, и не смеешься,
И нету сил, чтобы громко крикнуть.

Троллейбус робко в метель крадется,
Наохлились курами пассажиры.
Никто не плачет и не смеется.
Эй, люди, люди! Вы еще живы?

УТЕШЕНИЕ

Закат неяркий, тихий вечер,
Молочно-белый теплоход.
Мое лицо ласкает ветер
И нет ни горя, ни забот.
Я слышу тихий шепот Ницше,
Он мне внушает: все забудь...
А над рекой туман клубится
И бег воды – как жизни суть.

Наталья Николаевна Ширшова родилась в 1978 году в деревне Кокошилово Мышкинского района Ярославской области, в семье учительницы и тракториста. Окончила среднюю школу, а затем Рыбинское медицинское училище, получив специальность медсестры. Работала дояркой, свиноводом, заведующей сельским клубом, бригадиром тракторной бригады.

В 2002 году поступила в Ярославское училище культуры на отделение «Режиссура театрализованных представлений», где и учится в настоящее время. Одновременно работает гардеробщицей в ночном клубе.

Стихи пишет с 16 лет, публиковалась в районной газете.

Живет в Ярославле.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ах, эта лунная дорожка
И ярко-желтый диск луны...
Мне плакать хочется немножко,
Но небу слезы не нужны.
Струится лунная дорожка,
Струится с неба тихий свет.
Хочу потрогать осторожно,
Прочна дорожка, или нет.
На гладь воды легко ступаю,
Луна к себе меня зовет –
И я уверенно шагаю...
Сама печаль меня ведет.
Ах, эта лунная дорожка
И ярко-желтый диск луны!
Мне плакать хочется немножко,
Но небу слезы не нужны.

СЕГОДНЯ

Смотрю я в зеркало и вижу не себя:
Лицо бледно, глаза глядят устало.
Такой усталости в них раньше не бывало,
Как будто сердце биться перестало...
Смотрю я в зеркало и вижу не себя.

Без разницы холодному стеклу,
Кто перед ним, счастливый иль несчастный.
Оно лишь отражает нас бесстрастно,
Просить его и спрашивать – напрасно,
Без разницы холодному стеклу.

Оранжевое солнце далеко,
А здесь дожди – колючие, косые,
А здесь надежды – глупые, пустые,
Здесь нелюбимые, и оттого – любые...
Оранжевое солнце – далеко.

ПАМЯТЬ

17 ноября 2004 года исполняется год со дня смерти классика русской литературы XX столетия, крупнейшего поэта современности, лауреата Государственной премии России, профессора Литературного института имени М. Горького, члена Академии Российской словесности Юрия Поликарповича Кузнецова.



ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

Я плевал на забвеньё и славу

ГРОЗА В СТЕПИ

И вот уже грохот, сумятица, визг,
Метут проливные потоки.
Под низкой подводой не скрыться от брызг,
И в брызгах, как в родинках, щеки.

В глубоком кювете грызутся ручьи,
А тучи трещат, как арбузы.
Под ливнем высоким шершав и плечист
Неубранный лес кукурузы.

Глазастая хата - в размытом краю,
А ветер до скрипа развинчен.
И капли с куриным упорством клюют
В прорехи дубового днища.

Я лезу под ливень, под гром горловой,
Я падаю в буйную небыль.
И насмерть над самой моей головой
Зарезано молнией небо.

1958

Имя Юрия Кузнецова стоит в одном ряду с именами классиков отечественной литературы - таких, как Тютчев, Фет, Блок, Есенин, его произведения входят во все значимые поэтические антологии современности, их изучают дети в русских школах.

Родился поэт 11 февраля 1941 года в станице Ленинградской Краснодарского края, его родовые корни - в рязанской земле. В 1970 году окончил Литературный институт имени М. Горького, где впоследствии долгие годы преподавал молодым писателям Советского Союза уроки литературного мастерства. Книги его издавались на многих языках и исчезали с прилавков мгновенно, имя поэта в течение нескольких десятилетий не сходило с уст критиков и литературоведов. В 1990 году Юрий Поликарпович был удостоен за свою творческую деятельность Государственной премии Российской Федерации.

По благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II поэт осуществил в 1998 году стихотворный перевод величайшего памятника русской литературы XI века, «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона. Кроме того, он блистательными стихами перевел на русский язык многие классические произведения мировой литературы. Находясь в расцвете своего творческого гения, поэт скончался на 63-м году жизни от сердечного приступа. Похоронен в Москве, на Троекуровском кладбище.

* * *

В белом оттиске лунной грозы
Мне запомнились ночи глубоко.
На листе в каждой капле росы
Бродит дьявола мутное око.

Снятся хата, звезда, молочай -
Весь кошмарный набор гарнизона.
Комары, как вскипающий чай,
Вьются струйками тонкого звона.

Караулы не чувствуют ног,
Ветви мрака летят им за ворот.
И скрежещет отсохший сучок,
Словно дергает кто-то затвором.

Спит в глубоком свинце тишина.
Ночь в болотах дымится и тянется.
И качает нас в фокусе сна -
Роковом зачарованном танце.

1965

* * *

Не выходят стихи.
Ну и ладно. Подумаешь! Кину
Стол, чернильницу, сердце,
Решительно влезу в пиджак.
Выйду в ночь, как в отставку.
С презрением шляпу надвину,
Саркастически
Толстые губы поджав.

Мама, мама, ваш сын неудачник.
Ваш сын неприкаянный ходит.
Разве можно так долго ходить?
Разве можно так часто курить?
Не выходят стихи.
Понимаете, жизнь не выходит.
Может, время жениться
И шлепанцев пару купить?

Я горю белым светом
Своих неподкупных бессонниц.
Мой обугленный рот
«Презираю!» кричит на меня.
Я лопату беру
И копаю в том месте, где совесть.
Ненавижу стихи!
Прометей, не желаю огня!

1965

ОТЕЦ В СОРОК ЧЕТВЕРТОМ

Не сняв ремней, он спит на нарах твердых,
На кулаке, что вмят в железный сон.
Играет славу год сорок четвертый,
Раздавливая клавиши погон.

Из пустоты бежит прожектор криво
И вырывает наугад года.
Я снюсь отцу за полчаса до взрыва,
Что встанет между нами навсегда.

От той взрывной волны, летящей круто,
Мать вздрогнет в тишине еще не раз...
Вот он встает,

идет,

еще минута -

Начнется безотцовщина сейчас!

Начнется жизнь насмешливая, злая,
Та жизнь, что не похожа на мечту.
Не раз, не раз, о помощи взывая,
Огромную услышу пустоту.

1965

ИЗ ДЕТСТВА

С девчонкой за светлую руку
Иду я, аршин проглотив.
А верные кони по кругу
Летят под разбитый мотив.

Пластинка хрипит и, признаться,
Подруга глазами стрижет.
Поедем, красotka, кататься!
Соперник меня стережет.

Бросает и топчет окурок.
За ним из глухого двора
Встают роковые фигуры
По прозвищу «кеши с бугра».

Уйдем, говорю, от погони!
Крути, карусельщик хмельной!
Мои деревянные кони,
Давайте рванем по прямой!

Кричу, чтоб со мною дружила
До самого смертного дня...
Но голову ей закружило,
Она позабыла меня.

1966

ПРОЩАНИЕ С КРАСНОДАРОМ

Потрясают осенний перрон
Золотые литавры и трубы -
Их прислало бюро похорон
По изысканной выдумке друга.

Может быть, я, ребята, вернусь!
Но прощальными машут руками
И на память мне дарят арбуз,
Исцарапанный именами.

Я читаю: «Валерка», «Вадим».
Кабаки, переулки, закаты...
Мы неверным молчаньем почтим
Нашей молодости раскаты.

Гей, шампанского! Водку несут.
Ничего, наливай до предела!
Мы сегодня покажем, как пьют
За успех безнадежного дела.

Я бросаю в измозглый туман
Роковую перчатку. Однако
Машинисту последний стакан,
Чтобы поезд летел, как собака!

Выкликаю: «Валерка!», «Вадим!»
Я вернусь знаменитым поэтом.
Мы еще за успех воздадим,
Шапку оземь и хвост пистолетом!

1966

АТОМНАЯ СКАЗКА

Эту сказку счастливую слышал
Я уже на теперешний лад,
Как Иванушка во поле вышел
И стрелу запустил наугад.

Он пошел в направленье полета
По серебристому следу судьбы.
И попал он к лягушке в болото,
За три моря от отчей избы.

- Пригодится на правое дело! -
Положил он лягушку в платок.
Вскрыл ей белое царское тело
И пустил электрический ток.

В долгих муках она умирала,
В каждой жилке стучали века.
И улыбка познания играла
На счастливом лице дурака.

1968

* * *

И снился мне кондовый сон России,
Что мы живем на острове одни.
Души иной не занесут стихии,
Однообразно пролетают дни.

Качнет потомок буйной головою,
Подымет очи - дерево растет!
Чтоб не мешало, выдернет с горою,
За море кинет - и опять уснет.

1969

ОТЦУ

Что на могиле мне твоей сказать?
Что не имел ты права умирать?

Оставил нас одних на целом свете.
Взгляни на мать - она сплошной рубец.
Такая рана видит даже ветер!
На эту боль нет старости, отец.

На вдовьем ложе памятью скорбя,
Она детей просила у тебя.

Подобно вспышкам на далеких тучах,
Дарила миру призраков летучих -
Сестер и братьев, выросших в мозгу...
Кому об этом рассказать смогу?

Мне у могилы не просить участия,
Чего мне ждать?..
Летит за годом год.
- Отец! - кричу. - Ты не принес нам счастья!.. -
Мать в ужасе мне закрывает рот.

1969

ВЕТЕР

Кого ты ждешь? За окнами темно.
Любить случайно женщине дано.
Ты первому, кто в дом войдет к тебе,
Принадлежать решила, как судьбе.

Который день душа ждала ответа.
Но дверь открылась от порыва ветра.

Ты женщина - а это ветер вольности...
Рассеянный в печали и любви,
Одной рукой он гладил твои волосы,
Другой - топил на море корабли.

1969

* * *

Батиме

За сияние севера я не отдам
Этих узких очей, рассеченных к вискам.

В твоем голосе мчатся поющие кони,
Твои ноги полны затаенной погони.

И запястья летят по подушкам - без ветра
Разлетаются волосы в стороны света.

А двуострая грудь серебрится...
Так вершина печали двоится.

1970

* * *

С бледным лицом возвращаюсь к законной жене.
- Где я напился? На дне, дорогая, на дне.

Верную руку я подал падучей звезде,
Твердую волю доверил бегущей воде.

Нечего больше у доброго молодца взять,
Полно, родная, красивую жизнь поминать.

Мало прошли, но я дальше не вижу пути.
Ты обезумела, я опустил... прости.

1971

ХОЗЯИН РАССОХШЕГОСЯ ДОМА

Среди пыли, в рассохшемся доме
Одинокий хозяин живет.
Раздраженно скрипят половицы,
А одна половица поет.

Гром ударит ли с ясного неба
Или легкая мышь прошмыгнет, -
Раздраженно скрипят половицы,
А одна половица поет.

Но когда на руках как сиянье
Нес подругу в заветную тьму,
Он прошел по одной половице,
И весь путь она пела ему.

1971

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Шел отец, шел отец невредим
Через минное поле.
Превратился в клубящийся дым -
Ни могилы, ни боли.

Мама, мама, война не вернет...
Не гляди на дорогу.
Столб крутящейся пыли идет
Через поле к порогу.

Словно машет из пыли рука,
Светят очи живые.
Шевелятся открытки на дне сундука -
Фронтовые.

Всякий раз, когда мать его ждет, -
Через поле и пашню
Столб крутящейся пыли бредет,
Одинокий и страшный.

1972

* * *

Надоело качаться листку
Над бегущей водою.
Полетел и развеял тоску...
Что же будет со мною?

То еще золотой промелькнет,
То еще золотая.
И спросил я: - Куда вас несет?
- До последнего края.

1973

* * *

Орлиное перо, упавшее с небес,
Однажды мне вручил прохожий, или бес.

- Пиши! - он так сказал и подмигнул хитро. -
Да осенит тебя орлиное перо.

Отмеченный случайной высотой,
Мой дух восстал над общей суетой.

Но горный лед мне сердце тяжелит.
Душа мятется, а рука парит.

1974

ЗАВЕЩАНИЕ

I

Мне помнится, в послевоенный год
Я нищего увидел у ворот -
В пустую шапку падал только снег,
А он его вытряхивал обратно
И говорил при этом непонятно.
Вот так и я, как этот человек:
Что мне давалось, тем и был богат.
Не завещаю - отдаю назад.

II

Объятья возвращаю океанам,
Любовь - морской волне или туманам,
Надежды - горизонту и слепцам,
Свою свободу - четырем стенам,
А ложь свою я возвращаю миру.
В тени от облака мне выroyте могилу.

Кровь возвращаю женщинам и нивам,
Рассеянную грусть - плакучим ивам,
Терпение - неравному в борьбе.
Свою жену я отдаю судьбе,
А свои планы возвращаю миру.
В тени от облака мне выroyте могилу.

Лень отдаю искусству и равнине,
Пыль от подошв - живущим на чужбине,
Дырявые карманы - звездной тьме.
А совесть - полотенцу и тюрьме.
Да возымеет сказанное силу
В тени от облака...

1974

* * *

Выходя на дорогу, душа оглянулась:
Пень иль волк, или Пушкин мелькнул?
Ты успел промотать свою чистую юность,
А на зрелость рукою махнул.

И в дыму от Москвы по Хвалынское море
Загулял ты, как бледная смерть...
Что ты, что ты узнал о родимом просторе,
Чтобы так равнодушно смотреть?

1975

ДУБ

То ли ворон накликал беду,
То ли ветром ее насквозило,
На могильном холме - во дубу
Поселилась нечистая сила.

Неразъемные кольца ствола
Разорвали пустые разводы.
И нечистый огонь из дупла
Обжигает и долы, и воды.

Но стоял этот дуб испокон,
Не внимая случайному шуму.
Неужель не додумает он
Свою лучшую старую думу?

Изнутри он обглодан и пуст,
Но корнями долину сжимает.
И трепещет от ужаса куст,
И соседство свое проклиняет.

1975

* * *

Когда кричит ночная птица,
Забытым ужасом полна, -
Душа откликнуться боится:
Она желает быть одна.

Но дико слышать ей от века
Рыданье ветра, хриплый вой
И принимать за человека
Дорожный куст, объятый мглой.

1975

* * *

Гулом, криками площадь полна,
Там качает героя толпа.
Он взлетает в бездонное небо.
Посулил ли он вечного хлеба,
Иль дошел до предела в числе,
Иль открыл, что нас нет на земле?..

Выше, выше! Туда и оттуда!..
Но зевнула минута иль век -
И на площади снова безлюдно...
И в пространстве повис человек.

1975

* * *

Ты не стой, гора, на моем пути.
Добру молодцу далеко идти.

Не мешай ногам про себя шагать,
Не мешай рукам про себя махать.

Говорит гора: - Смертный путь един.
До тебя прошел растаковский сын.

Сковырнул меня изо всей ноги,
Отмахнул меня изо всей руки.

- Не мешай, - сказал, - про себя шагать,
Не мешай, - сказал, - про себя махать.

Не ищу я путь об одном конце,
А ищу я шар об одном кольце.

Я в него упрусь изо всей ноги,
За кольцо схвачусь изо всей руки.

Мать-Вселенную поверну вверх дном,
А потом засну богатырским сном.

1976

* * *

Ты зачем полюбила поэта
И его золотые слова?
От высокого лунного света
Закружилась твоя голова.

Ты лишилась земли и опоры.
Что за легкая тяга в стопе?
И какие открыло просторы
Твое тело и в нем, и в себе?

Он хотел свою думу развеять,
Дорогое стряхнуть забытье.
Он сумел небесами измерить
Свой полет и паденье твое.

И небрежным движеньем поэта
Он накиннул на плечи твои
Блеск тончайшего звездного света
От прощального слова любви.

Что-то будет: огонь или солнце?
Заметет вас полынь-мурава.
Ты заплачешь, а он отзовется
На свои золотые слова.

1977

РАСПУТЬЕ

Поманила молодость и скрылась.
Ночь прозрачна, дума тяжела.
И звезда на запад покатилась,
Даль через дорогу перешла.

Не шумите, редкие деревья,
Ни на этом свете, ни на том.
Не горите, млечные кочевья
И мосты - между добром и злом.

Через дом прошла разрыв-дорога,
Купол неба треснул до земли.
На распутье я не вижу бога.
Славу или пыль метет вдали?

Что хочу от сущего пространства?
Что стою среди его теснин?
Все равно на свете не остаться.
Я пришел и ухожу один.

Прошумели редкие деревья
И на этом свете, и на том.
Догорели млечные кочевья
И мосты - между добром и злом.

1977

ПОСОХ

Отпущу свою душу на волю
И пойду по широкому полю.
Древний посох стоит над землей,
Окольцованный мертвой змеей.

Раз в сто лет его буря ломает,
И змея эту землю сжимает.
Но когда наступает конец,
Воскресает великий мертвец.

- Где мой посох? - он сумрачно молвит,
И небесную молнию ловит
В богатырскую руку свою,
И навек поражает змею.

Отпустив свою душу на волю,
Он идет по широкому полю.
Только посох дрожит над землей,
Окольцованный мертвой змеей.

1977

* * *

Я пил из черепа отца
За правду на земле,
За сказку русского лица
И верный путь во мгле.

Вставали солнце и луна
И чокались со мной.
И повторял я имена,
Забытые землей.

1977

ЗНАМЯ С КУЛИКОВА ПОЛЯ

Сажусь на коня вороного -
Проносится тысяча лет.
Копыт не догонят подковы,
Луна не настигнет рассвет.

Сокрыты святыя обеты
Земным и небесным холмом.
Но рваное знамя победы
Я вынес на теле моем.

Я вынес пути и печали,
Чтоб поздние дети могли
Латать им великие дали
И дыры российской земли.

1977

ПАМЯТЬ

- Отдайте Гамлета славянам! -
Кричал прохожий человек.
Глухое эхо за туманом
Переходило в дождь и снег.

И я невольно обернулся
На прозвучавшие слова,
Как будто Гамлет шевельнулся
В душе, не помнящей родства.

Но приглушенные рыдания
Дошли, как кровь, из-под земли:
- Зачем вам старые преданья,
Когда вы бездну перешли?

1978

МЕЛКИЕ ВОДЫ

Чиркнув спичкой, увидел я море,
Где гуляет душа на просторе.
Есть, где вольной красе погулять
Или господу душу отдать!

Опускались на смутные воды
Птицы-лебеди редкой породы...
Но сказала бегущая пена:
- Это море тебе по колено!

Будешь ты мелководьем брести,
По колено сгнивая в пути,
Хоть садятся на мелкие воды
Птицы-лебеди редкой породы...

1978

ВИНА

Мы пришли в этот храм не венчаться,
Мы пришли этот храм не взрывать,
Мы пришли в этот храм попроситься,
Мы пришли в этот храм зарыдать.

Потускнели скорбящие лики
И уже ни о ком не скорбят.
Отсырели разящие пики
И уже никого не разят.

Полон воздух забытой отравы,
Не известной ни миру, ни нам.
Через купол ползучие травы,
Словно слезы, бегут по стенам.

Наплывают бугристым потоком,
Обвиваются выше колен.
Мы забыли о самом высоком
После стольких утрат и измен.

Мы забыли, что полон угрозы
Этот мир, как заброшенный храм,
И текут наши чистые слезы,
И взбегает трава по ногам.

Да! Текут наши детские слезы.
Глухо вторит заброшенный храм.
И взбегают колючие лозы,
Словно пламя, по нашим ногам.

1979

* * *

Что тебе до семейных измен?
Что тебе до разорванных звеньев?
Что тебе до обрушенных стен?
Что тебе до летящих каменьев?

Горный воздух так чист и глубок,
И леса обступают огулом.
Посмотри на бегущий поток,
Он живет своей силой и гулом.

Он поток. Он ломает хребты
И летящих камней не боится.
Он зажмет им оружие рты,
Он обточит им грубые лица.

Он шумит про свое и ничье,
Он уходит в открытое море,
Где купается имя твое
И гуляет душа на просторе.

1980

ВЕСТЬ

Что за темень! Кричи не кричи,
Эта рытвина мне незнакома.
Вылетают со свистом ключи
Из дверей сумасшедшего дома.

Захожу, разгоняя туман.
Мать честная! Знакомые лица.
И гуляет по кругу стакан,
И сидит на стакане девица.

То смеется, то плачет навзрыд,
А на пальчике белом горит
Адский зрак - золотая оправка.
Синим полымем лица горят.
- Признаешь или нет? - говорят. -
Мы - твоя сумасшедшая слава.

- Полно волю держать. Признаю!
Полезайте в бутылку сию,
Все в бутылку, кто лыка не вяжет! -
Я швыряю бутылку в туман,
Пусть плывет до неведомых стран
И про бедное сердце расскажет.

1981

* * *

Небо покинуло душу мою.
Я под ногами повешенных сплю,
Тягой они затекли,
Но не достигли земли.

Бездна раскрыта... При звездном огне
Ноги повешенных ходят по мне.
- Спи, - говорят. - Это сон,
Если окончится он.

1981

ПОЕДИНОК

Противу Москвы и славянских кровей
На полную грудь рокотал Челубей,
Носясь среди мрака.
И так заливался: - Мне равного нет!
- Прости меня, боже, - сказал Пересвет, -
Он брешет, собака!

Взошел на коня и ударил коня,
Стремнину копья на зарю накренья,
Как вылитый витязь!
Молитесь, родные, по белым церквам.
Все навье проснулось и бьет по глазам.
Он скачет. Молитесь!

Все навье проснулось - и пылью и мглой
Повыело очи. Он скачет слепой!
Но бог не оставил.
В руке Пересвета прозрело копье -
Всевидящий глаз озарил острие
И волю направил.

Глядели две рати, леса и холмы,
Как мчались навстречу две пыли, две тьмы,
Две молнии света -
И сшиблись... Удар достигнул до луны!
И вышло, блистая, из вражьей спины
Копье Пересвета.

Задумались кони... Забыт Челубей.
Немало покрыто великих скорбей
Морщинистой сетью.
Над русскою славой кружит воронье.
Но память мою направляет копье
И зрит сквозь столетья.

1983

НЕРАЗРЫВАЕМОЕ КОЛЬЦО

На Востоке прохладная тень
И сияет кольцо аромата.
Мы широкий увидели пень -
Славный стол для проезжего брата!

- Что-то в этом счастливое есть, -
Как один, мы сказали друг другу. -
Некий перст указывает присесть
И пустить нашу чашу по кругу.

Мы по кольцам считали у пня -
Триста лет расходились широко.
Русским князем назвали меня,
И сказал я потомкам Востока:

- Разорвать никому не дано
В этом пне ни единого круга.
Пьем за семя. Когда-то оно
Круг за кругом погнало упруго.

Так запомним друг друга в лицо
И друг друга любить обязуем,
Потому что живое кольцо
Мы вокруг этого пня образуем.

Мы глядели друг другу в лицо,
Круг широк, но стояли едино.
А за нами народов кольцо,
И держала всех нас сердцевина.

1983

* * *

Ни великий покой, ни уют,
Ни высокий совет, ни любовь!
Посмотри! Твою землю грызут
Даже те, у кого нет зубов.
И пинают и топчут ее
Даже те, у кого нету ног,
И хватают родное твое
Даже те, у кого нету рук.
А вдали, на краю твоих мук,
То ли дьявол стоит, то ли Бог.

1984

МАРКИТАНТЫ

Было так, если верить молве,
Или не было вовсе.
Лейтенанты всегда в голове,
Маркитанты в обозе.

Шла пехота. Равнение на «ять»!
Прекратить разговоры!
А навстречу враждебная рать -
Через реки и горы.

Вот сошлись против неба они
И разбили два стана.
Тут и там загорелись огни,
Поднялись два тумана.

Лейтенанты не стали пытаться
Ни ума, ни таланта.
Думать нечего. Надо послать
Толмача-маркитанта!

- Эй, сумеешь за совесть и страх
Поработать, крапивник?
Поразнюхать о слабых местах
И чем дышит противник? -

И противник не стал размышлять
От ума, от таланта.
Делать нечего. Надо послать
Своего маркитанта!

Маркитанты обеих сторон -
Люди близкого круга.
Почитай, с легендарных времен
Понимали друг друга.

Через поле в ничейных кустах
К носу нос повстречались,
Столковались на совесть и страх,
Обнялись и расстались.

Воротился довольный впотьмах
Тот и этот крапивник
И поведал о темных местах
И чем дышит противник.

А наутро, как только с куста
Засвистала пичуга,
Зарубили и в мать, и в креста
Оба войска друг друга.

А живые воздали телам,
Что погибли геройски.
Поделили добро пополам
И расстались по-свойски.

Ведь живые обеих сторон -
Люди близкого круга.
Почитай, с легендарных времен
Понимают друг друга.

ПЕТРАРКА

*И вот непривычная, но уже нескончаемая
вереница подневольного люда того и другого
пола омрачает этот прекраснейший город
скифскими чертами лица и беспорядочным
разбродом, словно мутный поток чистойшую
реку; не будь они своим покупателям милее, чем
мне, не радуй они их глаз больше, чем мой, не
теснилось бы бесславное племя по здешним
узким переулкам, не печалило бы неприятными
встречами приезжих, привыкших
к лучшим картинам, но в глубине своей Скифии
вместе с худою и бледною Нуждой среди каме-
нистого поля, где ее (Нужду) поместил Назон,
зубами и ногтями рвало бы скудные растения.
Впрочем,
об этом довольно.*

*Петрарка.
Из письма Гвидо Сетте,
архиепископу Генуи.
1367 год Венеция*

Так писал он за несколько лет
До священной грозы Куликова.
Как бы он поступил - не секрет,
Будь дана ему власть, а не слово.

Так писал он заветным стилем,
Так глядел он на нашего брата.
Поросли б эти встречи быльем,
Что его омрачали когда-то.

Как-никак, шесть веков пронеслось
Над небесным и каменным сводом.
Но в душе гуманиста возрос
Смутный страх перед скифским разбродом.

Как магнит, потянул горизонт,
Где чужие горят палестины.
Он попал на Воронежский фронт
И бежал за дворы и овины.

В сорок третьем на лютом ветру
Итальянцы шатались, как тени,
Обдирая ногтями кору
Из-под снега со скудных растений.

Он бродил, превратившийся в дух,
И жевал прошлогодние листья.
Он выпрашивал хлеб у старух -
Он узнал эти скифские лица.

И никто от порога не гнал,
Хлеб и кров разделяя с поэтом.
Слишком поздно других он узнал.
Но узнал. И довольно об этом.

ОЧЕВИДЕЦ

Вела дорога прямо на вокзал,
По сторонам носился птичий щебет.
Отец надел медали и сказал:
«Пойдем смотреть - товарищ Сталин едет!»

Мелькнул товарищ Сталин вдалеке:
Глаза, усы, неполная улыбка,
И трубка в направляющей руке,
И змейка дыма - остальное зыбко.

Пришли домой, схватил отец ремень,
Стал сына бить так, что летели ключья:
«Я бью, чтоб ты запомнил этот день,
Когда увидел Сталина воочью!».

От ужаса и боли сын ревел,
И мать кричала: «Люди, заступитесь!»
Один сосед ребенка пожалел
И на отца донес, как очевидец.

Отца на Север увели с крыльца.
Об этом сын не говорит ни слова.
Отшибло память. Он забыл отца.
Но Сталина он помнит как живого.

1988

ЗАПЛОМБИРОВАННЫЙ ВАГОН ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Шел вагон, словно призрак, отдельно,
И давно никому невдомек,
Как могли его стражи Вильгельма
Пропустить сквозь себя на Восток.

В нем незримые люди молчали,
Предвкушая горящие дни,
Их железные мысли стучали...
Мимо плыли болота и пни.

Вот уже по России он мчался,
Только цели своей не достиг,
Васька-стрелочник спьяну признался,
Что загнал его в дальний тупик.

По путям пулеметы и бомбы,
Вот какой-то матрос подоспел
И сорвал он тяжелые пломбы.
Но в вагоне никто не сидел.

1989

АФГАНСКАЯ ЗМЕЯ

Аллах и пуля в рай ведут душмана,
И русский сон тревожен в том краю.
Один солдат в горах Афганистана
Заметил полумертвую змею.

Она на солнце узко отливала
Узорчатым черненым серебром.
Он пожалел и каждый день, бывало,
Поил ее из миски молоком.

Уже змея солдата узнавала,
Уже она из рук его пила.
Других она к себе не подпускала.
Окрепла и однажды уползла...

Застава спит. В палатке сон глубокий.
В глухую ночь стоял он на посту.
И только вспомнил отчий край далекий -
Опасность просквозила темноту.

И, уловив опасность по скольженью,
Присел от страха и узнал змею -
Та самая! И обвила за шею
Она его, как гурия в раю.

Хотел он встать, не тут-то было дело!
Змея вздымала голову пред ним,
В лицо шипела и в глаза глядела.
Так и сидел он в страхе, недвижим.

Как будто шум со стороны палатки,
Как будто тихо...Вечность протекла.
Змея, разжав кольцо смертельной схватки,
Его освободила. Уползла.

Он распрямылся и, мрачней заката,
Прошел насквозь заставу, - кровь и прах.
Все вырезаны, все его ребята,
И первыми - кто были на постах.

Как жить ему? Его сомненье гложет,
Подумать страшно: может быть, змея
Его спасла за счет других... О Боже,
Печальна тайна, но она твоя!

* * *

Может быть, мне позволит родная
Пробудиться среди ночи смурной
И ударить от края до края
По одной и еще по одной.

Нет, такого не будет вовеки,
Да и мне поднимать тяжело,
Словно Вию, затекшие веки
На великую правду и зло.

1989

ПУЛЬС

Когда мы вышли в Баренцево море,
Молчание прервал военный врач:
- Какое горе, о, какое горе
Увидим мы на острове Вайгач.

А вот и он... И я не без тревоги
Ступил ногой на одичалый берег.
И врач повел, но шли мы без дороги.
Унылые места. Болота, снег.

Полярное сияние широко
Тут разрывает плотный зимний мрак.
Глазам открылся далеко-далеко
Угрюмый покосившийся барак.

Внутри обломки нар и гниль подстилок
И пустота... Мы вышли до костей.
Все черепа прострелены в затылок.
Из дыр торчит бесцветный мох скорбей.

Ужели этот мох едят олени?..
Засеребрились мертвые холмы.
И горестные призрачные тени
Нас обступили: - Люди, это мы!

- За что вас так? - За что? А мы восстали.
Мы тоже люди, тоже соль земли.
Охрану взяли. Но такие дали
Мы одолеть живыми не могли.

- Прощайте! - тень нам протянула руку.
Врач эту руку выше кисти взял.
- В ней бьется пульс, передающий муку...
Они мертвы и живы,- так сказал.

Мы по своим следам ушли из зоны:
Поэт-печальник и военный врач.
Какие стоны, о, какие стоны
К нам доносились с острова Вайгач!

1990

ВЕРА

Опять бурлит страна моя,
Опять внутри народа битвы.
И к старцу обратился я;
Он в тишине творил молитвы.

И спросил у старца я,
Что в тишине творил молитвы:
- Зачем бурлит страна моя?
- Зачем внутри народа битвы?

Кто сеет нас сквозь решето?
И тот, и этот к власти рвется...
- Молись! - ответил он. - Никто
Из власть имущих не спасется.

1990

СВЕЧА

Хор церковный на сцене стоит, как фантом,
И акафист поет среди срама.
Камень веры разбился в песок, и на нем
Не построишь ты нового храма.

Ни царя в голове, ни царя вообще.
Покосилась луна у сарая.
День грядущий бредет в заграничном плаще,
Им свою наготу прикрывая.

Что же ты не рыдаешь, не плачешь навзрыд?
Твою родину мрак обступает.
А она, как свеча, перед Богом горит...
Буря мрака ее задувает.

1990

СТОЯНИЕ

На горе церквушка застоялась
На крови, на жертвенном огне.
На болоте цапля замечталась
В самой точке на одной ноге.

Цапля ничего не понимает,
Полетает, снова прилетит.
Только одну ногу поменяет,
Ногу поменяет - и стоит.

Все стоит в знак вечного покоя...
Столпник перед Господом стоит.
Древо жизни умирает стоя,
Но стоит и мне стоять велит.

1990

СТРУНА

В землю белый и красный легли,
Посылая друг другу проклятья.
Два ствола поднялись из земли
От единого корня, как братья.

В пыль гражданская распря сошла,
Но закваска могильная бродит.
Отклоняется ствол от ствола,
Словно дьявол меж ними проходит.

Далеко бы они разошлись,
Да отца-старика по нитью
Посетила счастливая мысль -
Их связать металлической нитью.

Слушай, слушай, родная страна,
В грозовую ненастную пору,
Как рыдает от ветра струна
И разносится плач по простору.

В ясный день не рыдает она,
И становятся братья родными.
И такая стоит тишина,
Словно ангел витает над ними.

1990

УРОК ФРАНЦУЗСКОГО

Кровь голубая на помост хлестала...
Ликуй, толпа! Сжимай свое кольцо!
Но, говорят, Антуанетта встала
И голову швырнула им в лицо.

Я был плохим учеником, признаться;
В истории так много темных мест.
Но из свободы, равенства и братства
Я вынес только королевский жест.

1991

СОН

Я уже не поэт, я безглавый народ,
Я остаток, я жалкая муть.
Если солнце по небу зигзагом пойдет,
То душа повторит этот путь.

Мать-отчизна разорвана в сердце моем.
И глотая, как слезы, слова,
Я кричу: - Схороните меня за холмом,
Где осталась моя голова!

1991

* * *

Душа у пьяного горит,
Онахватила через край,
Во сне кому-то говорит:
- Не возникай! Не возникай!

Господь, спаси мою страну,
Онахватила через край
И заклинает сатану:
- Не возникай! Не возникай!

1992

* * *

Жена! А ты предашь меня мгновенно
По легкости иль глупости своей.
Уж столько лет ты лжешь самозабвенно
И натрясешь с три короба чертей.

Когда за мной придут ночные люди,
Не лги душой, уход мой торопя,
И не царапай в кровь лицо и груди:
Они еще прекрасны у тебя.

1992

ЦАРЬ-КОЛОКОЛ

Гей, Царь-Колокол! Где твои громы?
Снова медное царство мертво.
Погляди: что ни явь, то фантомы...
Ничего, - говорит, - ничего.

Нет порядка, есть ложь и свобода,
Узок путь, а трясет широко.
Глубоко ли молчанье народа?
Глубоко, - говорит, - глубоко.

На поверхности пень да колода,
Прямо тяжело, а сбоку легко.
Велико ли терпенье народа?
Велико, - говорит, - велико.

Оттого о любви, о свободе
Не гремит колокольная медь.
Дух безмолвствует в русском народе,
Дух святой, и велит нам терпеть.

1993

* * *

Что мы делаем, добрые люди?
Неужели во имя любви
По своим из тяжелых орудий
Бьют свои...неужели свои?
Не спасает ни чох, ни молитва,
Тени ада польщут в Кремле.
Это снова небесная битва
Отразилась на русской земле.

Октябрь 1993

* * *

- Где ты, Россия, и где ты, Москва? -
В небе врагами зажатый,
Это бросает на ветер слова
Ангел с последней гранатой.
Пала Россия, пропала Москва.
Дико оставила взоры
Анти-Россия и анти-Москва
На телеящик Пандоры.

1994

ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК

Он возвращался с собственных поминок
В туман и снег, без шапки и пальто,
И бормотал: - Повсюду глум и рынок.
Я проиграл со смертью поединок.
Да, я ничто, но русское ничто.

Глухие услышали человека,
Слепые увидели человека,
Бредущего без шапки и пальто;
Немые закричали: - Эй, калека!
А что такое русское ничто?

- Все продано, - он бормотал с презрением, -
Не только моя шапка и пальто.
Я ухожу. С моим исчезновеньем
Мир рухнет в ад и станет привиденьем -
Вот что такое русское ничто.

Глухие человека не слышали,
Слепые человека не видали,
Немые человека замолчали,
Зато все остальные закричали:
- Так что ж ты медлишь, русское ничто?!

1994

СИРОТА

Помню дым родительской субботы,
Пил я с кем-то около креста.
И спросил того, с кем пил: - А кто ты? -
Тот ответил: - Круглый сирота.

Я хотел уйти, но собутыльник
К горлу моему приставил нож.
Может, он убийца и насильник?
Говорю ему: - Меня не трожь!

Человека с виду не узнаешь,
Голос его полон темноты:
- Я не трону, если угадаешь,
Сколько матерей у сироты?

Я его в два уха заметаю,
От удара нож летит в кусты.
- Говори! - и за грудки хватаю. -
Сколько матерей у сироты?

Он слова как вынул из кармана,
Отвечает: - Надо понимать,
Матушка-Москва, Одесса-мама,
Да еще Чита - едрена мать.

Может быть, ответ достоин века,
Но не понимаю ни черта:
Столько матерей у человека,
А сказал, что круглый сирота.

1994

КНИГИ

От пронизательного чтенья
Вся обнажается до дна
Литература самомненья,
Где копошится злоба дня.

Где топчут бисер свиньи быта,
На ум дерзает интеллект,
И у разбитого корыта,
Как вещь в себе, сидит субъект...

Но попадают глубины,
В которых сразу тонет взгляд,
Не достигая половины
Той бездны, где слова молчат.

И ты отводишь взгляд туманный,
Глаза не видят ничего.
И дух твой дышит бездной странной,
Где очень много твоего.

1996

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИРА

Жизнь улеглась...Чего мне ждать?
Конца надежде или миру?
В другие руки передать
Пора классическую лиру.

Увы! Куда ни погляжу -
Очарованье и тревога.
Я никого не нахожу:
Таланты есть, но не от Бога.

И все достойны забытья.
Какое призрачное племя!
Им по плечу мешок нитья,
Но не под силу даже время.

Когда уйдет последний друг
И в сердце перемрут подруги,
Я очерчу незримый круг,
И лиру заключу в том круге.

Пусть к ней протянут сотни рук
Иного времени кумиры,
Они не переступят круг
И не дотронутся до лиры.

Пусть минет век, другой пройдет,
Пусть все обрыднет в этом мире, -
Круг переступит только тот,
Кому дано играть на лире.

Я буду терпеливо ждать,
Но если не дождусь поэта,
И лира станет умирать, -
Я прикажу ей с того света:

- Окружена глухой толпой
Среди загаженного мира,
Играй, играй сама собой,
Рыдай, классическая лира!

Небесной дрожью прежних дней
Она мой прах в земле разбудит.
Я зарыдаю вместе с ней...
Пусть лучше этого не будет!

21 июня 1997

ПОКАЯНИЕ

Я пришел не без дыма и хлеба,
Спохмела о туман опершись.
Оседают под тяжестью неба
И родная могила, и жизнь.

Тридцать лет олимпийского пьянства
Изнутри мою душу трясли.
Стыд и скорбь моего христианства
Стали тягче небес и земли.

Из меня окаянные силы
Излетают кусками огня.
У креста материнской могилы
Рвет небесная рвота меня.

Покаяния вздох покидает
Эту землю для горних высот.
Может, вздох мой архангел поймает
И до Бога его донесет...

1999

ПОЮЩАЯ РАНА

Я пел золотому народу
И слушал народ золотой.
Я пел про любовь и свободу,
И плакал народ золотой.

Однажды в лихую погоду
Явились враги бытия,
Схватили за горло свободу,
А в горле свободы был я!

Прощайте, любовь и свобода!
Лихие враги бытия
Ударили в сердце народа,
А в сердце народа был я!

Еще не упал бездыханно
Навылет пробитый народ.
Зияет в груди его рана,
И рана от ветра поет.

1999

ЛАДА

В обаянии женского имени
Что-то есть от звезды за рекой -
Золотое, красивое, синее,
Что душе навевает покой.

Но упала звезда во полночи
И до моря река не дошла.
И забились душа в переулочек,
И дороги к тебе не нашла.

Закатилась звезда в твоём имени
И река пересохла совсем.
Но в душе золотое и синее
Все живет, неизвестно зачем.

Было все-таки что-то красивое,
Но прошло и исчезло, как дым.
И его золотое и синее
Никогда не бывало твоим.

2000

ПОДО ЛЬДАМИ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА

Подо льдами Северного полюса
Атомная лодочка плыла.
На свою могилу напоролась,
На мою погибель течь дала.

Подо льдами Северного полюса
Солнышко не светит никогда.
И доходит мне уже до пояса
Темная печальная вода.

Не хватает маленького гвоздика -
Имя нацарапать на духу.
Не хватает родины и воздуха.
Все осталось где-то наверху.

Подо льдами Северного полюса
Бьется в борт любимая жена.
Отозваться не хватает голоса.
Отвечает только тишина.

2002

* * *

Полюбите живого Христа,
Что ходил по росе
И сидел у ночного костра,
Освещенный, как все.

Где та древняя свежесть зари,
Аромат и тепло?
Царство Божье гудит изнутри,
Как пустое дупло.

Ваша вера суха и темна,
И хромает она.
Костыли, а не крылья у вас,
Вы разрыв, а не связь.

Так прониктесь дыханьем куста,
Содроганьем зарниц
И услышите голос Христа,
А не шорох страниц.

2002

ТАМБОВСКИЙ ВОЛК

России нет. Тот спился, тот убит,
Тот молится и дьяволу, и Богу.
Юродивый на паперти вопит:
- Тамбовский волк выходит на дорогу!

Нет! Я не спился, дух мой не убит,
И молится он истинному Богу.
А между тем свеча в руке вопит:
- Тамбовский волк выходит на дорогу!

Молитесь все, особенно враги,
Молитесь все, но истинному Богу.
Померкло солнце, не видать ни зги...
Тамбовский волк выходит на дорогу.

2003

ЕВГЕНИЙ ЧЕКАНОВ

МЫ ЖИЛИ ВО ТЬМЕ ПРИ МЕРЦАЮЩИХ ЗВЕЗДАХ

Встречи с Юрием Кузнецовым

Как соотносится увиденное, услышанное и прочувствованное - с запечатленным на бумаге? не бесплодны ли наши попытки передать с помощью черных иероглифов то, что живет в памяти и сердце? Наиболее глубокие люди отвечают на этот вопрос однозначно: да, бесплодны. «Не поймать на лету ветра буйного, - сокрушенно вздыхает русская поэзия устами Алексея Толстого, - тень от облака летучего не прибить гвоздем ко сырой земле».

И все-таки мы вновь и вновь пытаемся поймать ветер и приколотить тень. Что это с нами? уж не потому ли мы столь упорны в своих бессильных попытках, что не владем никаким другим ремеслом, кроме сочинения текстов? Но если любой текст изначально обречен оказаться в лучшем случае бледной копией жизни - тогда зачем писать? не лучше ли просто жить, коль уж нам выпала эта доля? Жить, утопая в живой воде каждого мгновения, не тратя ни сил, ни времени на бесполезное сочинительство...

Писание мемуаров о великих современниках, кажется, несколько оправдывает нас; мы прикрываемся благородством задачи - сохранить для потомков черты гения, поведать о том, что происходило с ним, пока он еще не опочил в силе и славе, записать его высказывания. Но и здесь нас подстерегает та же ловушка: гений есть такое же явление природы, как ветер и тень от облака, так же неуловим, неприбиваем, невоплощаем в чужом слове - и Эккерман, предваряя свои «Разговоры с Гете» предисловием, не зря пишет в нем, что кажется сам себе ребенком, пытающимся удержать в ладонях весенний ливень, в то время, как живительная влага протекает у него меж пальцев.

Я, современник и собеседник недавно опочившего Юрия Кузнецова, нахожусь в той же двусмысленной ситуации. С одной стороны, двадцать лет близкого знакомства с великим поэтом прямо-таки обязывают меня оставить потомству воспоминания о нем; с другой - я отчетливо сознаю, что образ, запечатленный в моих записках, обречен остаться лишь бледной тенью русского гения...да куда там!.. всего лишь штрихом этой тени!

И все-таки даже с тенью дело обстоит не так-то просто. Словно наяву, вижу я выплывающее из тумана времени лицо моего Учителя; его крупные губы кривятся в вечной пренебрежительной ухмылке и произносят что-то вроде:

- Ты наивен...Что такое «тень»? Тень тоже материальна. Я даже попросил вырыть в ней мою могилу!...помнишь?

Я киваю в ответ: да, я помню, Юрий Поликарпович...И память тут же уносит меня на четверть века назад, во вторую половину прошлого столетия. Вижу себя двадцатидвухлетним, с буйной шевелюрой, студентом-третьекурсником очного отделения истфака Ярославского университета, обожателем солженицынского «Ивана Денисовича», читателем каждой новой вещи Шукшина, Белова, Быкова, Трифонова. На дворе 1977 год, у кормила имперской власти стоит Леонид Брежнев, о котором народ рассказывает массу анекдотов; в Ярославле голодно, в магазинах лежат лишь консервы «Завтрак туриста», но столица империи рядом - и я раз в месяц привожу оттуда на электричке («длинная, зеленая, пахнет колбасой») полный рюкзак московских продуктов. Деньги на это дают родители, полгода тому назад переехавшие из райцентра в Ярославль и купившие в Тверицах, на самом берегу Волги, половину деревянного дома с яблоневым садом; я живу в одной комнате с отцом и матерью, и уже поэтому прихожу сюда только ночевать. Да и дел у меня - выше головы: каждым вечером я встречаюсь с друзьями, пью с

ними дешевые вина и болтаю о литературе и искусстве, иногда попадая после этого в отделение милиции или вытрезвитель; кроме того, каждый день грызу гранит науки, посещаю лекции в «альма матер», иногда конспектируя их, но чаще читая под монотонный голос преподавателя свежий номер «Нового мира» или «Дружбы народов». А ночью, облачившись в фуфайку и валенки, пишу в холодной кладовке рассказы и дорабатываю свою первую повесть (ее, вроде бы, хотят опубликовать в местном коллективном сборнике).

У меня есть девушка, которая через год станет моей женой, мы встречаемся в «гостевом режиме»; в перерывах между альковными ристалищами я пою ей песни Высоцкого и Окуджавы, хрипя под первого и подвывая под второго, а потом декламирую свои собственные стихи, полные недоверия и неуважения по отношению к власти. Девушка, дочь колхозного тракториста и доярки, слегка подтрунивает надо мной, но словам моим верит...да и как не верить? ложь и глупость власти видна каждому здравомыслящему человеку, вся общественная атмосфера пропитана скрытой критикой режима. Естественно, Контора Глубокого Бурения не дремлет, всякий человек, мыслящий критически, взят ею на учет; а к таким, как я, позволяющим себе без санкции парткома и комитета комсомола вывешивать в стенах факультета поэтические стенгазеты, она даже время от времени подсылает разбитных молодцев, студентов юрфака, «поболтать за жизнь, почитать новые стихи» - и я, святая простота, болтаю, читаю...

Именно тогда я и натываюсь в одном из номеров «Литературного обозрения» на цитату из дотолы неизвестного мне поэта Юрия Кузнецова, которая вспыхивает в моем сердце, озаряя неведомые прежде глубины. Это строки из стихотворения о стоящем на смолистом холме могучем дубе, в котором вдруг, откуда ни возьмись, поселилась нечистая сила:

Изнутри он обглодан и пуст,
Но корнями долину сжимает.
И трепещет от ужаса куст
И соседство свое проклиняет.

«Боже мой! - восклицаю я, - так вот как, оказывается, можно «обо всем этом» сказать! Но кто это такой - Юрий Кузнецов? Где найти его стихи?»

В областной библиотеке книг Кузнецова не оказывается; лишь летом следующего, 1978 года я вижу в продаже только что вышедший его сборник, - белый, с ласточками на обложке, - и, мгновенно проглотив его, на всю жизнь влюбляюсь и в эти стихи, и в их автора. Высоцкий и Окуджава оттесняются на периферию моего сознания, я брежу новыми образами, я пишу свои вирши с новой интонацией и ловлю в прессе каждое упоминание имени человека, обладающего волшебной властью над русским словом. Вечерами я щиплю свою шестиструнку и подбираю мелодии к стихам из книжки с ласточками на обложке - эти стихи певучи, полны загадок, почти всегда трагичны, - но прекрасны.

Этим же летом мне удастся узреть своего кумира живьем - он приезжает на ежегодный литературный праздник в Карабаху, бывшую усадьбу Некрасова под Ярославлем. Стоя в шумной толпе своих земляков, любителей «поглядеть на писателей», я напряженно вглядываюсь в лица приехавших литераторов, чинно сидящих на дощатом возвышенном помосте, под легким навесом, и ожидающих своей очереди для выступления с трибуны... да не врет ли областная пресса? Приехал ли он? Наконец, я нахожу глазами человека, отдаленно похожего на того, что изображен на фотографии в книге с ласточками на обложке... но он ли это? Тот, из книжки, вроде бы не такой крупный... Однако, больше никого похожего на «Юрия Кузнецова» на помосте нет. Значит, это он. Так вот он какой!

Мужчина в светлой рубашке сидит, глубоко задумавшись. Кажется, он совершенно не участвует в том, что происходит вокруг, не слышит ни гремящих из микрофона на всю поляну стихов его собратьев по перу, ни плеска ответных аплодисментов... уж не работает

ли он на публику, не притворяется ли этаким отшельником, постоянно погруженным в свои «мысли о вечном»? Проходят полчаса, час, а он сидит все в той же отрешенной позе... но вот над поэтической поляной нависает невесть откуда взявшаяся тучка и из нее мгновенно сыплются крупные холодные капли.

Народ на поляне раскрывает зонты и не уходит; писатели тоже продолжают выступать - их под навесом не мочит. Но в том-то и дело, что человек в светлой рубашке сидит не прямо под навесом, а сильно выдвинувшись вперед. Дождь льет уже по-хорошему, а мой кумир сидит все в той же позе... проходят минута, две - и тут кто-то из-под навеса, сжалившись, протягивает ему его же пиджак.

Это надо видеть!.. сыграть это невозможно! Человек в светлой рубашке недоуменно смотрит на пиджак, на того, кто его протягивает, озирается, бросает взгляд на небо - и только тут до него доходит, что сверху хлещет вода. Втянув голову в плечи и явно чертыхаясь, он перебирается под навес... и эта сцена производит на меня едва ли не самое сильное впечатление от поэтического праздника. Даже последующее чтение Кузнецовым своих стихов (он читает «Знамя с Куликова») не оставляет в моей душе такого восторга, какой производит «сцена с дождем». Так вот как должен вести себя истинный поэт!.. надо уходить в себя!.. не замечать ничего вокруг, кроме своих поэтических фантазий!..

Дождь и праздник заканчиваются; писатели один за другим уходят с помоста, сразу же окружаемые тесными кружками поклонников. Когда Кузнецов проходит мимо меня, я делаю несколько снимков старенькой «Сменой»... увы, этим снимкам не суждено стать фотографиями, проявленная пленка будет впоследствии утеряна... где? когда? Не помню я и того, что происходило со мной дальше...подходил ли я к нему? пытался ли познакомиться? Помню, что с ним говорила молодая женщина, журналистка, что он отвечал на ее вопросы... впоследствии выяснится, что это была Надежда Кускова, сотрудница редакции той самой областной молодежной газеты «Юность», которую мне через пять лет предстоит возглавить. Выяснится также, что за это интервью (абсолютно, кстати, безобидное) Надежда получит от начальства некоторый нагоняй: как смеет какой-то Кузнецов говорить, что поэзия Тютчева оказала на него гораздо большее влияние, нежели поэзия Некрасова? Да еще говорить это на некрасовском празднике! И как смеет молодежная газета такие заявления печатать!

На меня, однако, и этот факт производит прямо противоположное впечатление: я давно с восторгом отношусь к любому, кто, по выражению моего отца, «блистает поперек»... и еще сильнее влюбляюсь в человека, явно наплевательски относящегося и к капризам погоды, и к принятым в обществе глупым условностям.

Оказывается, Кузнецов давно известен; вскоре я нахожу в книжном магазине стенографический отчет четвертого съезда писателей РСФСР трехлетней давности, с речью Юрия Поликарповича о современном состоянии поэзии - и эта речь переворачивает мои представления о поэтическом творчестве. Я начинаю задумываться о соотношении «быта» и «бытия», открываю для себя Тряпкина и Рубцова, меняю свое отношение к Шкляревскому (прежде восторженное). Критические стрелы, понесшиеся в Кузнецова на том же съезде, заставляют меня понять, что «там, наверху», в писательской среде идет страшная, не на жизнь, а на смерть, война... но кто с кем воюет? о чем вообще идет речь?

Жизнь тем временем идет своим чередом: я женюсь, через год рождается дочь, я заканчиваю вуз и начинаю работать корреспондентом молодежной газеты. Повесть опубликована, в местных газетах проскакивают мои стихи, в родных краях у меня появляется пусть крохотное, но литературное имя. Естественно, провинциальная известность меня не устраивает; с пачкой стихов под мышкой я еду в Москву, обхожу редакции «толстых» имперских журналов. В журнале «Юность» до разговора со мной милостиво снисходит маленький чернявый человечек со щегольскими усиками, сотрудник отдела поэзии Виктор Коркия. Он проглядывает мои стихи, играя губами, потом выбирает одно стихотворение, читает его. Как сейчас помню, это было стихотворение «Иней».

Нет, не вернулась весна -
Это лишь яблоня в инее.
Не пробудилось от сна
Колкое дерево зимнее.
Снова почудилась мне
Ты лепестки распускающей...
Снова кристалл прозвенел -
Иней! Лишь иней сверкающий!

Сотрудник отдела поэзии морщит губы, смотрит в сторону...потом, по-птичьему наклонив голову и понизив голос, говорит:

- Э-э... гм... речь идет о женщине?

Я утвердительно киваю, внутренне удивляясь недотепистости собеседника: ведь это же и так ясно, из самого стиха. Но Коркия хмурит брови:

- Ну... э-э... тогда так и надо было написать...И вообще...сейчас так не пишу...

- А как же Юрий Кузнецов? Он вроде пишет...

Мой собеседник надолго умолкает, глядит в окно, затягивается сигаретой. Через пару томительных минут он, наконец, нехотя изрекает:

- Да...дорогу он проторил широкую...

Стихи мои Коркия все-таки забирает, обещает показать их заведующему отделом Натану Злотникову...какая-то надежда на публикацию во всесоюзном журнале у меня остается, пусть и очень небольшая. Я тогда еще не понимаю, куда я попал и кто беседует со мной, мне пока ни о чем не говорят имя и фамилия заведующего отделом, я по-детски верю в то, что главным критерием отбора произведений в этом журнале, как и в других, является только талант автора. Приехав домой, я разыскиваю в подшивке журнала «Юность» стихи самого Виктора Коркия, нахожу приличную по объему подборку и с удивлением читаю беспомощные вирши:

Братские могилы,
Истины без слез.
Значит, были силы
Лечь в ногах берез.

Правда беспощадней
Вздохов площадей
И мундир парадный
Не висит на ней.

Как это «правда» может быть «беспощадней», чем «вздохи площадей»? Как соотносится с ней «мундир парадный», как он может «висеть на правде»? Что это за галиматья такая псевдопатриотическая? Да умеет ли этот Коркия вообще писать по-русски? читал ли он Пушкина? - думаю я потрясенно. Не-ет, в «Юность» эту я больше не ходок... Но Кузнецова все-таки и там признают! А что, если послать стихи ему самому?

Набравшись наглости, я разыскиваю домашний адрес своего кумира и посылаю ему гору своих виршей, написанных «под Кузнецова». Адресат молчит...проходят месяц, два, три...полгода!.. и вот в апреле 1980-го, когда я уже бью подошвами армейских сапог бетонный плац «учебки» под Ленинградом, моя жена присылает мне письмо с вложенным в него ответом Юрия Поликарповича.

«Дорогой Евгений!

Давно Вам собирался написать, но как-то не получалось. Вы талантливы, для меня это ясно. Но должен сразу предупредить, что перед Вами стоит, возможно, непосильная

задача: вырваться из плена чужой поэтической системы. Почти все, что вы прислали, мог бы написать и я, кроме стихотворения «Эпизод».

Вы обживаете чужое пространство. Это хорошо на первых порах.

Пройдемся по некоторым стихам.

1. «Эпизод» - наиболее оригинальное. Новый взгляд Вашего поколения на мир.

Но два замечания: в строке «Пыльный колос бережно сорвав» не годится «бережно». Отдавая эти стихи в «День поэзии» за нынешний год (не знаю, что получится), я заменил это слово на «наугад». Далее. Плоха строка «Но шум мотора заглушает звук». Что за звук, неясно. Заменена на следующее: «Во ржи раздался посторонний звук».

Не обессудьте за правку. Она предлагательная, рабочая.

2. «Солдат». Много лишнего, лучше сократить и начать со строки «Не их ли очи в спину нам глядят». Название при этом необходимо изменить, примерно: «Погибшим солдатам», что ли. В строке «И мы чутьем каким-то понимаем» - плохо «каким-то», нужен эпитет.

3. «Городской сюжет» - расхожий размер, но тут уж ничего не поделаешь.

4. «Удар» - глагол «пульнули» - плох, исправьте на хотя бы «вломили». В строке «Но сжалась сумрачно душа» плохо «сумрачно», не нагоняйте излишнего мрака.

А вообще стихотворение типично для Ю. Кузнецова, на что Вам сразу укажут.

Общие замечания по мелочам.

«Легенда об Угличе» неумело писана. Пластична и зрима одна строфа:

Гасли звезды в небе темном,
И над головами
Пролетал петух огромный,
Хлопая крылами.

«Продотрядникам 1918 года» лично меня ужаснула своей политической незрелостью. Что Вы знаете о роли Троцкого в этом деле? Вы просто бессмысленно повторили сведения из школьного учебника. Но поэт должен кое-что знать и дальше учебников.

«Лес» - вариация моего «Двуединства».

«Выпад» - интересны две последние строки.

«Дом» - под Кузнецова.

«Границы слова» - хороша строчка по парадоксальности:

Как залежалое яйцо,
Оно засижено веками.

«Взгляд после дождя» - это под Бунина.

«Жизнь в микрорайоне» - интересны две первые строфы.

«Связь» - это не Ваше, а чужое.

«Бегущие мысли» - интересна первая строфа.

«Поломка» - любопытны две первые строчки. В них зерно Вашего замысла, но замысел решен в расхожем, рассудочном плане научной фантастики. Бегите от этого «научного» читыва, как от чумы, а не то духовно одичаете.

«Притча об отроче» - замысел интересен, решение плохое. Подражательное стихотворение.

Об остальном почти не стоит говорить.

Пишите, присылайте новые стихи. Подавайте в Литинститут. Вам нужна литературная среда.

Приятно было с Вами познакомиться.

На всякий случай, мой телефон: 281-00-86.

Ваш Ю.Кузнецов.

1.IV.80».

Так, значит, я талантлив? Значит, все, что я написал за последние год-полтора - не блажь и не глупость, и я стою на верном пути? Значит, «так» - пишут?

Это письмо на долгие годы становится для меня точкой отсчета, незабываемым символом веры. Страхи мои рассеиваются, как утренний туман, я перестаю сомневаться в своей творческой состоятельности. Если сам Кузнецов пишет: «Вы талантливы, для меня это ясно», чего же более желать? Нужно только работать!

Но взяться за перо всерьез мне удается только через полтора года, после увольнения в запас. «Служба в Советской Армии» производит на меня шоковое впечатление: с таким бардаком, таким циничным унижением человеческого достоинства я не встречусь больше нигде и никогда. Дедовщина, казнокрадство, ежедневный идиотизм армейских буден заставляют меня сжаться в комок - и, сжав зубы, выживать...тут становится уже не до стихов. Из Заполярья в Ярославль я возвращаюсь другим человеком - и стихи у меня начинают рождаться тоже другие. Честно говоря, они мне совсем не нравятся! Правду об армии, ту правду, которую я знаю и которая жжет меня изнутри, я в своих сочинениях сказать не могу, боюсь...а неправду мне говорить не хочется. Где же выход из этого тупика?

Поработав немного инструктором обкома комсомола, я уйду в партийную газету, тружусь там корреспондентом отдела сельского хозяйства, получаю первую в своей жизни квартиру. Семья в порядке, дочь подрастает, начальство меня хвалит... но мне, как воздуха, не хватает публичного признания моих литературных способностей, мне хочется печататься. Вечера и ночи я отдаю сочинению стихов, осмысляя в них то, что произошло со мной в минувшие полтора года, вновь переживая в своем сердце и ужасы казарменного быта, и счастливые моменты побед... и «Юрием Кузнецовым» в этих стихах совсем не пахнет. Мне даже немного стыдно посылать их своему кумиру; но кто же другой сможет оценить их по достоинству? ведь я больше никому не верю, ничьему мнению не доверяю! Что с того, что в ярославском отделении Союза писателей СССР мои армейские вирши хвалят? еще неясно, радоваться мне, или огорчаться этому обстоятельству...

В апреле 1982 года я получаю от Юрия Поликарповича новое письмо:

«Дорогой Евгений!

Стихи порадовали. Армейский цикл самостоятелен. Конкретный материал дал себя знать. Лучшее стихотворение «Страж Заполярья». Это, конечно, вершина.

Что касается, так сказать, стихов общего плана, то Вы пока еще не вышли из «магнитного» поля моей системы. Избавляйтесь от Ю. Кузнецова во что бы то ни стало. Не читайте его, т.е. меня, я Вам мешаю.

Показывал Ваши стихи литературоведу и критику В. Кожиную. Он отметил «Страж Заполярья», высказать определенное мнение не мог, только сказал, что Вы еще не «проявлены», что Вам необходимо сделать рывок вперед, чтобы обрести «лица необщее выражение». Что ж, я с ним целиком согласен.

Сейчас Ваши стихи переданы в журнал «Наш современник». Не знаю, что из этого получится, но надо надеяться...

Напишите о себе, присылайте еще новые стихи.

Желаю удач. И надеюсь.

С приветом!

Ю. Кузнецов.

10.04.82 г.

P.S. Если случайно окажетесь в Москве, не забудьте мой телефон: 288-26-80».

Это письмо заставляет меня окончательно уверовать в свои силы. Я говорю себе, что раз меня хвалят за армейский цикл «с двух сторон», то ошибки быть не может - вот так, с этой интонацией, таким стихом и следует мне писать, чтобы «проявиться» и стать, наконец-то, подлинным «Чекановым». Имя Кожина мне уже кое о чем говорит: я читал его «Книгу о русской лирической поэзии XIX века» и осознаю уровень этого ученого, понимаю, насколько высоко он поднимает планку своих требований к литературному произведению. Осенью того же года я покупаю книгу Вадима Валериановича «Статьи о

современной литературе» - и буквально проглатываю ее; а статью, посвященную моему кумиру, перечитываю несколько раз. «Черт возьми! - говорю я себе, читая о критических баталиях вокруг стихов Кузнецова, - как же мне повезло тогда наткнуться на ту цитату из «Дуба»... значит, у меня и впрямь есть чутье на талантливый текст? значит, я чувствую русское слово?»

Книга Кожина побуждает меня найти и прочесть стихи Прасолова, Казанцева, Соколова, Куняева, перечесть Рубцова и Тряпкина, я смотрю теперь на этих поэтов гораздо более уважительно, нежели прежде...и все же имя Юрия Кузнецова продолжает для меня сиять на литературном небосклоне не как самая яркая звезда среди прочих звезд, а как Солнце, прогоняющее с неба все остальные звезды. Да, Солнце - тоже всего лишь звезда, и причина ее огромности и избранности для нас состоит, быть может, единственно в ее близости к нам, - говорю я себе, - а Юрий Кузнецов - всего лишь поэт...но как же он сумел стать таким огромным, таким близким мне? и только ли мне?

В начале зимы 1983 года местный графоман, воображающий себя писателем и постоянно курсирующий между Ярославлем и столицей, приносит мне весточку из Москвы: Юрий Кузнецов назначен, якобы, главным редактором очередного выпуска «Дня поэзии», крайне престижного общеимперского альманаха, издающегося стотысячным тиражом - и просит передать мне, чтобы я прислал новые стихи, так как имеющихся «не хватает до целой полосы».

Полоса в «Дне поэзии»? Да я и мечтать об этом не мог!.. в этот альманах, кажется, ни один ярославский литератор еще не попадал... Но правда ли это? не брешет ли графоман?

Оказывается, не брешет. В ответ на мое письмо с новыми стихами и разными околотературными опасениями Юрий Поликарпович пишет летом того же года:

«Дорогой Евгений!

В «День поэзии-83» предложены Ваши стихотворения:

«Военный билет»,

«На плацу»,

«Страж Заполярья»,

«Пламя»,

«Вечернее возвращение»,

«У ночного окна»,

«Улыбка матери».

Если в июле пройдут эти стихи в ЛИТО, то можно считать, что все в порядке.

Что касается каких-то повторений в коллективных сборниках («Истоки» и проч.), то не беспокойтесь. Это не имеет никакого значения.

С пожеланием успехов!

Юрий К.

29.06.83 г.».

Вместе с письмом мне приходит новая книга стихов Кузнецова, «Русский узел», с дарственной надписью автора: «Евгению Чеканову на верный путь во мгле. Юрий Кузнецов, 29.06.83». Она чудесно издана; удивительные иллюстрации Юрия Селиверстова приковывают к себе, а уж сами стихи!.. Я моментально выучиваю их наизусть, читаю друзьям, пою под гитару... Буквально каждое стихотворение заставляет меня пережить целую гамму эмоций, я радуюсь появлению этой книги и факту своего знакомства с ее автором чуть ли не больше, чем грядущей своей публикации в престижном альманахе.

На других фронтах меня тоже ждут в это время победы: осенью я беру в свои руки бразды правления областной молодежной газетой «Юность», становлюсь ее главным редактором. Впрочем, эта победа - пока что номинальная, подлинным главным редактором мне еще только предстоит стать. Никогда в прежней жизни не руководя даже самым маленьким коллективом, я вдруг получаю под свое начало десятков штатных журналистов областного уровня, большинство которых весьма поднатерело за долгую

жизнь в разных интригах, да и старше меня лет на десять - и мне необходимо с первых же шагов показать, кто в доме хозяин. Слава Богу, за моими плечами - служба в армии; теперь я начинаю понимать, что эта школа жизни была в моей судьбе не напрасной... После первых боев и увольнений коллектив утихомиривается, к декабрю все проблемы сами собой рассасываются, ЦК комсомола вызывает меня по какому-то делу в столицу, - и тут происходит моя первая встреча с Учителем.

После десятка таких встреч я перестаю записывать то, что происходило, прекращаю фиксировать наши беседы, - но вначале, понимая, какой подарок преподносит мне судьба и не надеясь на память, я записываю каждый такой разговор сразу же после встречи. Двадцать лет пролежат в моем архиве эти записи, никто никогда не видел их...но вот и пришло время обнародования. Править записанное не поднимается рука, хотя нынче я, разумеется, знаю и понимаю больше, чем в 1983 году. Что ж, умный читатель все поймет; кроме того, всем предыдущим повествованием я, кажется, достаточно подготовил его к дальнейшему чтению - ввел, худо-бедно, в атмосферу описываемого времени, набросал портрет автора записей, двадцативосьмилетнего автора из провинции, обрисовал степень понимания им происходивших тогда в русской литературе процессов...

Остается добавить, что по ряду соображений я и сейчас еще не могу публиковать эти записи без значительных купюр...пусть кое-что останется до времени в моем архиве.

А теперь - первая запись.

5.12.83.

Решение позвонить ему пришло внезапно. Хотя, уже собираясь в Москву, я предполагал эту встречу - и потому срочно перепечатал новые стихи. Но все же в душе не надеялся на встречу. Мало ли что, ведь вызывают в ЦК... скоро ли там все закончится?

Я приехал в Москву в воскресенье и часов в шесть вечера, сидя в гостинице «Орленок», с удивлением обнаружил, что мне нечего делать.

И набрал номер...

- А кто его спрашивает? - раздался в трубке то же самый милый женский голос, который месяц назад ответил мне, что «его нет и вряд ли до вечера будет».

Я сказал.

- Юра, Чеканов! - раздалось отдаленно в трубке. Сердце мое заколотилось.

Потом пошел какой-то сумбур. Я спрашивал, можно ли приехать; он говорил, что устал, но чтобы я приезжал. Я в ответ извинялся и говорил, что не настаиваю на аудиенции, он повторял: приезжайте! Я еще раз переспрашивал, он меня плохо слышал...

- Ну, приезжайте, приезжайте сейчас! Мы поговорим полчаса; я думаю, этого будет достаточно.

Внутри у меня кольнуло. Полчаса! Или он так ценит свое время, или... или это показатель его отношения ко мне?

Что ж, полчаса так полчаса.

Дверь в подъезде была закодирована и, хотя он сказал мне код, я так и не смог ее открыть. Меня выручили два мужика, выходящие из подъезда.

Поднялся на 15-й этаж. Позвонил.

Он открыл дверь.

Первое впечатление: нетороплив, замедлен, холодноват. Жестом пригласил пройти. Дочка, черноволосая раскосенькая смуглянка лет трех-четырёх, поглядела на меня и убежала. Вторая, лет шестнадцати, тоже раскосенькая, выглянула из комнаты и скрылась.

Прошли в кабинет. Он сел в кресло и протянул сигарету мне. Я не курил, но не посмел отказаться.

- Ну, так как ваши дела, Евгений...э-э...Феликсович? - сказал он нехотя и с некоей заметной иронией по отношению к моему отчеству.

- Можно без отчества, - сказал я.

- Так, я тоже так думаю.

Помолчали. Курили. Он глядел на меня, скучая. Неохотно начал спрашивать.

Я отвечал что-то.

Постепенно разговор завязался. Кажется, это произошло после того, как я признался, что приехал поглядеть на него, на живого Юрия Кузнецова.

Впрочем, я тут же оговорился, что мы с ним виделись - в Карабихе, на Некрасовском празднике поэзии. Он припомнил, что там к нему подходили двое - девушка и молодой человек. Вспомнив о Карабихе, стал рассказывать, что вообще не любит никуда ездить. И что на всех комсомольских собраниях засыпал. И что однажды директор школы, ругая его, сказал: «Как же ты, такой, в комсомол вступил?». А он в ответ директору заявил: «А я не вступал, меня насильно затащили, как всех».

- Директор ахнул! А ведь я сказал правду...

Я понял, что это - камень в мой огород, в мой комсомольский значок.

- Мне положено по штату, - отбоярился я.

Постепенно мы разговорились-таки. Пошли речи, которые я не раз уже слышал в Ярославле <...>.

Я дал ему свои новые стихи. На прощанье он сказал весело:

- Ну, комсомолец, хочешь, я тебя удивлю?

- Чем можно удивить комсомольца? - откликнулся я.

Он поднес к моим глазам фотографию: сумрачный человек, глядящий исподлобья, волосы пострижены в скобку, глухая гимнастерка. Подпись он зажал пальцем.

- Кто это?

- Н-ну... - неуверенно сказал я, - судя по одежде и прическе...начало двадцатого века?

- Так кто?

- Не знаю.

Он открыл подпись: Нестор Махно.

- Стенька Разин двадцатого века, - сказал он, довольно улыбаясь. - И даже переплюнул Стеньку!

Договорились встретиться через два дня, чтобы поговорить о моих новых стихах.

Первое впечатление: сумбур. Возвращаясь в гостиницу, я постоянно спрашивал себя: так кто же это? Большой ребенок, отгородившийся от мира книжной стеной? Поэт, играющий в политическую оппозицию? Кто?

Я ехал в метро и вспоминал нашу беседу, пытаюсь нарисовать для себя его портрет.

Очень ленив. Когда говорит, между словами делает большие паузы; иногда забывает мысль, ищет. Похоже, что ему все на свете - все равно. «Ленив и тяжел на подъем» - точная самохарактеристика. Иногда хохочет. Поймав точное слово, складывает пальцы в щепоть и «ыкает», то есть делает неясный, что-то вроде «ы», или «эге», звук горлом: мол, так ведь, ы?

Много и охотно говорит о себе. «Кузнецовых много, но я их всех забил».

- Я читал Кожинова, - сказал я. - Поразила его статья о Трифонове. Я считал Трифопова честным, одним из самых честных...

- Кожинов его разоблачил, - сказал он довольно.

- Разве Трифонов в самом деле был конъюнктурщиком? - спросил я осторожно.

- Конечно! - сказал он без тени сомнения. - <...>

Я спросил, почему взяли в «День поэзии-83» мое стихотворение «У ночного окна». Может быть, это случайность? Ведь в Ярославле его никто не понял.

- Ваши стихи отобрал Кожинов. Я ему доверяю. Так что это - не случайность.

Через два дня я позвонил вновь. Тот же расслабленный голос, вялость. «Ну, приезжайте, приезжайте...»

На этот раз дверь подъезда открылась легко.

Портрет: грузный, крупный мужчина с мясистым лицом, уши торчат, короткие черные волосы зачесаны назад. Рубашка заправлена в брюки. Неторопливые движения.

Мы сели друг напротив друга, в те же кресла.

Начали со стихов, но тут же отвлеклись. Больше всего ему понравились «Воскресные стихи». Правда, название ему не понравилось, он его тут же заменил на «Воскресное».

Остальное медленно, вяло ругал.

Главная претензия - быт, несопричастность к бытию. «Есть великие, высоковольтные передачи, несущие ток из века в век. К ним надо подсоединиться, подключиться. Но это дано не каждому». Он привел в пример Василия Федорова:

- Он хотел «закрыть тему Дон-Жуана!» Женить его! Ха-ха-ха!.. Но какова наглость! Чушь. Я еле одолел три песни. Чушь!

Короче говоря, Федоров не смог «подключиться».

Я стал спрашивать, как мне быть и о чем писать.

Он ответил, что не знает, что надо быть предельно откровенным, вот и все.

Я сказал, что пишу нечто вроде книги об армии.

- Попробуйте написать что-то под Киплинга. Возьмите у него...Надо просто уметь взять, «уметь украсть»... Ничто не ново под луной. Все уже было. Надо только суметь подключиться к великому наследию...

Говорили о Кольцове и Прокофьеве (он сказал, что сам - из этого же ряда), о Николае Федорове и Александре Солженицыне («Матренин двор» и «Иван Денисович», по его мнению - хорошая русская проза, а «Август четырнадцатого» - плохо, пошел «не туда»), о русской государственности (показал себя ярким сторонником централизма), о русской натуре («европейский гуманизм узок русскому человеку, мы, русские, не влезает в его рамки»)..

Я сказал полувопросительно, что мне, наверное, надо подождать писать...Он резко ответил:

- Нет! Нельзя, это мстит...

Сказал, что в «Чистякове» не 150 строк, а 700, что его никогда не напечатают... Советовал мне больше читать - Герцена, Киреевского, Данилевского, Чаадаева. Все это - очень современно.

Хохотал, когда я сказал, что мучаюсь несоответствием своей реальной солдатской службы - и тем, что я о ней пишу.

- Если бы я был священником, я бы отпустил этот грех! - воскликнул он.

Отсмеявшись, сказал серьезно:

- У искусства - другие законы. Тут главное - можешь ты, или не можешь...

Говорили о моем подражании ему. Он заметил:

- Вы попали в поле притяжения мощной звезды... Как бы вам от меня избавиться?

Посоветовал наложить табу на его, Кузнецова, поэтический словарь - очень, по его словам, бедный.

Я поинтересовался его мнением о современных русских поэтах. Он ответил, что лучшие из ныне пишущих - это, безусловно, Николай Тряпкин и Василий Казанцев.

Говорили о поэте Викторе Лапшине из Галича. Я рассказал, что ездил недавно в Кострому, в редакцию молодежной газеты - и что всех там поразила публикация большой подборки стихов Лапшина в «Литературной учебе». Он сказал радостно:

- Будет еще большее потрясение, когда выйдет «День поэзии» - там мы дали ему триста строк. Триста! Я сам больше ста двадцати - никогда, нигде...

Выяснилось, что Лапшин заезжал к нему.

Я рассказал о своих редакционных делах, в том числе о том, как мой шофер облил свою неверную жену бензином и пытался поджечь. С первой спички она, правда, не загорелась, дело для изменщицы кончилось небольшими ожогами, а для водителя - увольнением. Он слушал снисходительно, потом заметил, что этот случай может стать материалом... Рассказал мне о том, как сам работал в свое время в издательстве «Современник» в отделе национальных литератур, как боролся с нерадивыми сотрудниками.

- Я их выгонял! Принесет, бывало, рукопись - я сразу почеркаю: а тут почему не поправил?.. а это что такое? Сами уходили. Человек шесть ушло. Дочку Льва Ошанина выгнал...

Выяснилось, что он и в газете в свое время работал (кажется, это было в Краснодаре).

- Полгода сидел. Последние три месяца вообще ничего не делал. Зайдет редактор: чего делаешь? - Ничего. - Уйдет... А мне надо было до Литературного института досидеть, я ведь уже поступил.

Подытоживая разговор о газете, сказал с сочувствием:

- Замучают вас эти летучки-текучки...

Я сказал, что, конечно, эта работа для поэта - не из лучших, да и вообще трудно отключаться от повседневности...

- Оно, - заметил он, показав глазами вверх, - само отключает...ы?

В первый раз я просидел у него полтора часа, во второй - часа три. Что еще поразило меня: некоторые стихи мои (в том числе те, что были про него) он, кажется, совершенно не понял. Или они были просто неинтересны ему?

Впрочем, я ни на секунду не усомнился в том, что был в гостях у гения.

...Жизнь идет; в январе 1984 года на прилавках книжных магазинов появляется, наконец, «День поэзии-1983»; я скупаю все экземпляры, которые могу найти, дарю их друзьям-приятелям с дарственными надписями. Друзья-приятели радуются за меня, многие (особенно те, что сами марают бумагу) откровенно завидуют...но большинство не видит особой разницы между этой моей публикацией - и другими: главное ведь, что печатают, а где - вопрос второй. Но в местном отделении Союза писателей отношение ко мне резко меняется...как сейчас, помню коллективную пьянку в домике писателей на улице Терешковой и хмельной спор двух старых литераторов-фронтовиков.

- Ну, вон и с Женей Чекановым сколько мы возились, - говорит один, - пока он наверх не взлетел...

- Нет! - кричит другой, потрясая вилкой, - Чеканов пробился сам!..

Масла в огонь добавляет статья Юлии Друниной в номере «Правды» от 31 января: поэтесса-фронтовичка громит кузнецовский «День поэзии» за «глубокий минор», недостаток «гражданственности», «смакование душевных мук»...и тут я оказываюсь в двусмысленном положении: упоминая мои строчки, Друнина их как раз не ругает, а хвалит, называет точными. Положим, Друнина для меня - никакой не авторитет...но все-таки статья опубликована в «Правде», то есть самой главной газете империи...так радоваться мне, или возмущаться?

Я вновь и вновь перечитываю «День поэзии-83». Наибольшее впечатление оказывает на меня, конечно же, новое мощное стихотворение Учителя - «Поединок»:

Противу Москвы и славянских кровей
На полную грудь рокотал Челубей,
Носясь среди мрака....

А вот и «триста строк» Лапшина: кое-что мне нравится, но далеко не все; многие слова кажутся нарочитыми, придуманными, неуклюже стилизованными «под старину»...почему же Юрий Поликарпович такого высокого мнения о нем?

Из других поэтов, представленных, как и я, под рубрикой «Новые имена», мне больше всего нравится Михаил Шелехов, хотя и у него я нахожу подражания Кузнецову. А вот Александр Логинов, этот вроде бы совершенно самостоятелен, одно его стихотворение, про сторожку лесника - прямо-таки блестящее... Свою собственную подборку я перечитываю по несколько раз на день: почему же все-таки именно эти стихи отобрал Вадим Кожинов? где тот нерв, что объединяет их, делает их «чекановскими»?

Меня потрясают впервые опубликованные стихи Сергея Маркова «Когда нахмурен небосклон», «Дочери», «На дне походного мешка» - отныне и навсегда я начинаю читать

этого мастера слова; врезаются в память стихи «метаметафориста» Александра Еременко; даже стихотворение моего знакомого Виктора Коркии запоминается ударной концовкой: «Иду по вагону назад - пролетаю вперед!» А вот и стихи его начальника, Натана Злотникова... точнее, это не стихи, а рифмованная проза. И такие-то люди руководят отделами поэзии во всесоюзных журналах?

Впрочем, мне уже плевать на это: мощной рукой Учителя я поставлен в один ряд с другими молодыми поэтами империи, меня цитирует в «Правде» Друнина, я, наконец-то, признан в Ярославле. Теперь нужно думать о выходе первой собственной книги... да ведь я уже о ней и думаю! Это будет книга, состоящая, в основном, из стихов о моей армейской службе - о заполярных сопках, о казарменном быте, о лютой сердечной тоске... о том, что «можно сказать», говоря об армии. А то, «о чем нельзя» - пусть пока остается только в моем сердце.

Так думаю я в то время.

Будучи «зачисленным в круг» литераторов Ярославля, я начинаю выступать перед читателями по линии местного бюро пропаганды художественной литературы; помимо приятного общения с публикой, это приносит и кой-какие деньги, за каждую встречу со слушателями платят что-то около 7 рублей. Семь раз в месяц выступил - полтинник в кармане; а между прочим, моя зарплата главного редактора областной газеты составляет всего около 300 рублей... не так уж и плох «приварок»! Естественно, главное тут - не деньги, главное - восхищенные глаза читателей, улыбки и прочие эмоции зала в ответ на особо удачные строчки... очень скоро я, как сказали бы сейчас, «подсаживаюсь» на эти встречи, мне начинает их не хватать.

В писательской организации частенько устраиваются застолья; я теперь участвую в них на равных с людьми, которые значительно старше меня, у многих за плечами война. Особенно благоволит ко мне Пал Палыч Голосов, тот самый поэт-фронтовик, которому перепуганные преподаватели университета в свое время отдали на рецензию мою студенческую поэтическую стенгазету - он одобряет намерение издать «армейскую» книжку стихов, хвалит удачные строки, критикует провальные. Положим, его собственные стихи не производят на меня особого впечатления... но ведь и Юрий Кузнецов считает лучшим у меня именно «армейский цикл». Значит, со стороны виднее, значит, мне стоит прислушаться и к оценкам Голосова. А Владимир Сокол, штатный сотрудник писательской организации, у которого в писательском домике есть собственный кабинет, вообще привечает меня, мы постоянно пьем с ним чай, а то и что покрепче. Я приношу в домик на улице Терешковой свои новые стихи, спорю, веду разговоры о жизни и литературе, знакомлюсь практически со всеми более-менее заметными литераторами края...

В июле 1984 года Владимир Сокол знакомит меня с московскими поэтами Николаем Старшиновым и Геннадием Серебряковым, вологодцем Александром Романовым - они приехали на очередной поэтический праздник в Карабихе. С Генной Серебряковой, бывшим редактором ивановской молодежной газеты, год поработавшим в секторе печати ЦК ВЛКСМ, а ныне «свободным художником», мы распиваем бутылку водки, болтаем о литературе; он с ходу обещает помочь мне с публикацией книжки в столичном издательстве «Современник». Я интересуюсь его мнением о Кузнецове, он отзывается в целом положительно; зато Кожина почему-то называет «масоном»:

- Вадик? Масон!

- А Тряпкин и Казанцев?

- Коля Тряпкин ничего уже не пишет, а Вася Казанцев ничего особенного и не писал никогда!..

Листаю книжку самого Гены: стихи его, честно говоря, в подметки не годятся казанцевским и тряпкинским, не говоря уж о кузнецовских, - это плоские, заурядные вирши. Но сам он явно так не считает и очень гордится «шумом» вокруг некоторых из

своих творений, особенно вокруг «Черных полковников», написанных, по его словам, с намеком на Брежнева.

- После этой публикации Юра Верченко собрал все «телеги» на меня и отнес в ЦК партии!.. - говорит он хвастливо.

Что ж, каждому свое. Лично мне Брежнев до лампочки, реальные политические деятели меня интересуют мало. В своих стихах я раздумываю о парадоксах человеческой жизни, о страстях и разочарованиях, о связи мертвых и живых, неба и земли... и мой Учитель поддерживает эту устремленность, жестко критикуя мои новые вирши на «армейскую» тему, написанные в расчете на выход будущей книжки, «для объема». В конце августа он пишет мне:

«Дорогой Евгений!

В последних Ваших стихах наметился резкий отход от Ю. Кузнецова в сторону, условно скажем, В. Лапшина /стихи «Свеча», «Русский мотив»/.

Вот Ваш актив:

«Свеча», «Гощу в деревне» /прокитайское название, смените/, «Вечер на Волге» /две первые строчки расхожи, плохая строчка «Мирно светит луна вполнакала», «вполнакала» не ассоциируется с человеческой ступней/, «В автобусе» /тут засилие быта, быт слишком мелок для такого обобщения: «нас сближают только беды»/, «Запретные темы» /непроходимый для цензуры эпитет «запретные» смягчите на «опасные темы»/, «Русский мотив», «Не век же себя ожиданьем томить» /расслабляют подряд четыре глагольные рифмы, само стихотворение, без последней строчки, напоминает...Надсона. Странный рецидив!/, «Районный сюжет», «Если тебя не слышат» /вообще-то довольно привычный ход мысли/, «Выходя в свет» /тут старая эстетика, прошлый век/.

Армейские стихи мне не понравились: сплошной быт, газета. Вы слишком доверяете быту, товарищ «комсомолец». Вы находитесь в опасной близости к быту.

Покамест лучшим Вашим стихотворением остается «Страж Заполярья».

Старайтесь всегда думать только высокими категориями, например: правда, долг, родина, женщина, бог. К сожалению, о последних двух Вы не имеете решительно никакого представления.

С пожеланием грядущих удач.

До встречи!

Ю. Кузнецов.

28.08.84.

В тот же день я записываю в дневнике: «...упрекает меня за «засилие быта». Что ж, я сам понимаю это. Но все время думать о быте - и не писать о нем? Я не могу отделиться от быта, так как он у меня не налажен, все под сомнением - и семья, и работа, и жилье... Но все же я оторвался от Ю.К. и теперь ухажу в свой собственный полет, в «путь во мгле»!..».

О неустойчивости своего быта я пишу не просто так: в моей жизни в это время намечается развод, и я очень тяжело переживаю это. Не радуют уже ни первая в моей жизни поездка за кордон, в Венгрию, ни выступления по местному телевидению и радио, ни литературные успехи, хотя они, несомненно, есть: в ноябре заведующий отделом поэзии «Нашего современника» Алексей Шитиков сообщает, что главный редактор этого журнала Сергей Викулов отобрал для публикации пять моих стихотворений, сказав при этом: «Поэт он интересный, даровитый, думающий. Напишите ему письмо, чтобы в первую очередь все новые стихи показывал нам».

Грядущий развод совершенно вышибает меня из колеи; я всерьез думаю об уходе из редакторского кресла, даже нахожу уже другую работу...и именно в этот момент, в начале декабря 1984 года ЦК комсомола вызывает меня на учебу в Москву, в Высшую Комсомольскую Школу. Две недели подряд нас пичкают с трибуны «проблемами совершенствования развитого социализма», пожеланиями «чаще писать о Ленине» и

«актуальными вопросами повышения профессионального мастерства журналистских кадров». Впрочем, есть и интересные выступления...но мне гораздо интереснее встретиться с Учителем - и я буквально в первый же свободный вечер звоню ему и напрашиваюсь в гости.

А теперь - две записи, сделанные в те дни.

8.12.84.

Я позвонил ему, будучи сильно пьян (в компании других редакторов выпил около бутылки водки и вдобавок бутылку красного). Он сказал: приезжайте сейчас.

Спьяну я забылся и приехал вместо Рижского метро на Курское; потом звонил ему еще раз, уточнял адрес. Попал к нему поздно, около девяти вечера.

Сели за стол, я предложил выпить водки. Он неожиданно легко согласился. Принес капусты. Крикнул жене, чтобы сготовилапельменей.

Говорили о разном. Поскольку я был пьян, то запомнил лишь несколько отрывков.

Спросил о жене его. Это - та самая Батима, которой посвящено стихотворение «В твоём голосе мчатся поющие кони». Она училась вместе с ним, окончила переводческий факультет, казашка по национальности.

Говорили о любви и страсти. Он сказал, что мы не знаем любви, не умеем писать о любви, умеем - лишь о страсти, а ведь это - разные вещи. <...>.

Говорили о литературе. Я сказал, что прочитал недавно в Ярославле несколько «самиздатовских» вещей <...>. Ю.К. тут же поправил: это - не самиздат, а ксерокопия. Вот альманах «Метрополь» - самиздат. А ксерокопия, рано или поздно, будет опубликована.

Я спросил, насколько высоко он меня ставит, как поэта. Он захохотал и воскликнул: «Дитя!». Потом сказал, что «Страж Заполярья» - явление одного порядка с «Враги сожгли родную хату».

Еще я спросил, почему он так холоден со мной. Он сказал, смутившись, что это не так, что он «вообще такой».

Я рассказал, что поднял свою родословную по пятое колено. Он похвалил и сказал, что у него все иначе - «за отцом все обрубается».

Поговорили о моих газетных делах, о том, что я собираюсь уйти из редакторов.

Я сказал: может быть, пока я еще редактор, мне можно напечатать что-то из неопубликованного Юрия Кузнецова? Например, «Чистякова» в полном виде...Он резко ответил:

- Нет! Тогда на Чеканове будет поставлен крест!

Посоветовал мне «сидеть в редакторах», пока я не стану членом Союза писателей. Но если я так уж твердо решил уходить, то...в редакции «Молодой гвардии» есть сейчас некое свободное место. Я честно ответил, что не справлюсь.

Спрашивал о друзьях и врагах его. Оказалось, что его враг номер один - Сергей Сартаков, который много ему нагадил. О моем знакомом, столичном поэте-фронтовике Викторе Кочеткове Ю.К. отозвался так: «Как поэт он - так...ничего...пустое место. А как человек - да, хороший». Кочеткова, по его словам, сильно обидели, убрав из секретарей какого-то парткома. Тогда, вслед за ним, ушел из парткома и сам Кузнецов.

Гена Серебряков, по его мнению, прохвост, но «если он обещает подтолкнуть книжку - пусть толкает», не надо пренебрегать подобной помощью.

Я заметил, что Юрия Кузнецова сейчас что-то перестали печатать...

- После моей смерти все напечатают!

Я расчувствовался, попросил разрешения обнять его. Он похлопал меня по плечу.

На прощанье я спросил, пишет ли он что-нибудь сейчас.

- Лучшие свои стихи я написал в последнее время.

Пили водку и ели пельмени с корейским соусом.

На другой день я проснулся с болью в копчике. Вспомнил, что вчера неудачно приземлился, перелезая часа в два ночи через ограду ВКШ (идти в пьяном виде через вахту поопасился). Закон компенсации: за все хорошее надо платить.

Вспомнил, что сегодня в Центральном Доме Литераторов - вечер поэзии, и что вроде как Ю.К. меня туда приглашал, обещал провести. Пошли вместе с Вовкой Кудрявцевым, редактором «Вологодского комсомольца».

Я был в ЦДЛ впервые. Оказалось, что на этот вечер продавали билеты, причем свободно. Купили билеты, пошли в буфет пить пиво. Я увидел Джемса Паттерсона, с которым знакомился как-то в Ярославле, поздоровался.

Появился Ю.К. Спросил, как я вчера добрался, вынул деньги за пиво. Пили, болтали. Вовка начал разговор о недавно скончавшемся Юрии Селезневе, восхищенно о нем отзываясь. Юрий Поликарпович заметил, что жена Селезнева поступила крайне непорядочно - «уехала, бросив труп в Германии. Это - черт знает, что такое!..».

Я припомнил, что Александр Романов назвал как-то Селезнева «генератором идей». Ю.К. резко опроверг это: «Своих идей у Селезнева не было - все заемное. Все это носится в воздухе!» Сказал, что это явление он заклеил в стихотворении, которое сегодня прочтет.

Болтали о том, о сем. Речь почему-то зашла об Азии. Ю.К. к слову рассказал, как он однажды искал в Туве «Центр Азии». «Все показывают примерно... а где точно - никто не знает!»

На вечере председательствовала Щипахина. Ю. К. читал стихи «Учитель хоронил ученика» (я понял, что это - о Селезневе), «Духи».

В зале, кажется, сидел народ случайный - всем хлопали одинаково.

25.12.84.

Поскольку пишу через два дня после встречи (да еще все эти дни я пьянствовал с приятелями-редакторами), многое передаю примерно. Многое попросту забыл.

Позвонил в понедельник, попросил разрешения увидеться. Договорились на вторник. Я взял с собой бутылку «Пшеничной» водки (0,9) и пол-литровую бутылку «Старки».

Когда мне открыли, он говорил по телефону. Старшая дочь молча указала мне на тапочки - меня уже ждали.

Ю.К. вошел, пожал мне руку. Прошли в его комнату, он начал накрывать на стол. Много всего принес, даже супу.

Помогала накрывать дочь. Я спросил, как ее зовут.

- Аня.

- А сестру вашу?

- Катя.

Заходила и жена, Батима; он почему-то звал ее «Галей», мягко, по-украински произнося звук «г».

Сели, наконец. Он достал из кармана брюк пол-литровку. Я остановил его словами: «Может, начнем с другого формата?».

Он глянул недоуменно. Я в ответ вынул свою 0,9.

Покачал головой: большая больно... Потом подумал и послал дочку за капустой на балкон. Дочка что-то замешкалась, он подошел к ней и помог оторвать кастрюльку с капустой от пола - примерзла.

Опять сели. Разливал я; по недосмотру налил себе чуть больше, чем ему (стаканы стояли один за другим, я сидел в глубоком кресле и не видел уровней). Он жестом показал: добавь.

Помолчали.

- Я хотел бы извиниться за задержку... - начал я. - У нас была лекция представителя Главлита, хотелось послушать его...

Он махнул рукой: стоит ли, мол, об этом говорить. Я, однако, продолжил:

- Так я задал этому, из Главлита, вопрос: «Что вы думаете о Юрии Кузнецове и Станиславе Куняеве?». А тот ответил, что обоих не любит. «Куняев - это литературный ширпотреб, а Кузнецов в последнее время впал в дикую мистику».

Юрий Поликарпович хмыкнул. Это его задело.

- Мистика... Да что они понимают! Они же не знают смысла-то слова «мистика», не умеют отличить религиозного сознания от обычного! Блаватскую хоть бы почитали! «Утопленник» Пушкина - тоже мистика? Весь Гоголь - мистика? Ерунда, чушь!

- Ну, - прервал он сам себя, - давай! За твое московское пребывание!

Выпили. Я налег на суп. Налили по второй. Он сходил за стихами, которые я ему оставлял.

- Ну, что... Вот, «Путнику». Название не то. Но есть образ, есть правда: действительно, эти ветки хлещут по глазам. Но плохо «сквозь век» и еще «вослед идущего потомка». Не надо ставить стихотворение на котурны. «Крепость»...ну, это уж слишком. Вот «Осветить лицо!» можно печатать...но ведь это - проза. «И стал здороваться со мной за ручку старшина» - ведь это проза! Ы?

- В общем, - он протянул мне рукопись, - хорошо, что твоя мысль идет в верном направлении. Задумываешься о Павлике Морозове - это хорошо. Об этом надо думать. Но выражено все это пока что...

- То есть, претензии к форме?.. - начал было я.

- А что такое форма? - осадил он. - Без нее нет содержания!

- Ну, а что, по-вашему, в этих стихах самое «чекановское»?

Он вяло махнул рукой: мол, не надо об этом. Я настаивал.

- Ничего тут сказать нельзя! - наконец, разразился он. - Пиши, будь откровенным, и все! Я тоже, когда служил на Кубе и писал стихи об этом, думал, что прославолюсь именно ими. Ведь ничего подобного в русской поэзии раньше не было: русский солдат - на Кубе... А вышло так, что Юрия Кузнецова знают по другим стихам. Ничего тут сказать нельзя. Я сам про себя ничего не могу сказать... как я буду писать завтра?

Выпили. Я рассказал, что был недавно в гостях у Владимира Крупина и узнал у него, что стихотворение Кузнецова «Ты стоял на стене крепостной...» посвящено Крупину.

- Нет, это не ему, - заметил Юрий Поликарпович.

- А он считает, что ему...

- Ну, пусть считает. А может, Вадиму Кожинову? А может, Вадиму Кожевникову? Я не пойму, как вообще можно посвящать кому-то стихи без его на то согласия. Вот мне тут графоман один прислал стихи, мне посвятил... Как так можно? Вообще, этика требует: если живущему посвящаешь - спроси разрешения. Вот я посвятил Палиевскому «Змеи на маяке» - так я спросил сперва.

- Мне кажется, - вставил я, - эта вещь у вас - самая совершенная по композиции. За каждым образом - символ...

- Жуткая история! - махнул он рукой. - Нам, мне и Белову, рассказал ее Палиевский, правда, в разное время. Белов сделал что-то на иностранном материале из нее...А сам Палиевский выкопал ее из средневековых хроник.

Я сказал, что Крупину запомнились мои стихи из «Дня поэзии» (имея в виду стихотворение «На плацу»). Ю.К. подумал, однако, что речь идет о «Страже Заполярья» и откликнулся:

- А! Так ведь я еще давно читал «Стража Заполярья» в Союзе писателей, и тогда же сказал: вот это стихи! А то у нас полно «литературных мальчиков» - пишут, книги издают, а все в мальчиках ходят...

В комнату вошла Батима. Юрий Поликарпович представил ей меня.

- А, это вы поздравили Юру...(Я в свое время поздравлял его из Ярославля с награждением орденом «Знак Почета»). Вы закусывайте, закусывайте!

Я стал спрашивать про его поэму «Дом»: почему в разных изданиях публикуются все время разные варианты?

- Это не варианты, это я восстанавливаю то, что у меня раньше резали. Они убирали, а я восстанавливал. До сих пор не могу, правда, восстановить небольшой кусок, про Сталина - мой герой Лука сидел вместе с его сыном в тюрьме. Ничего тут нет такого, я не ругаю Сталина и не хвалю...а вот нельзя, и все!

Дал мне прочесть только что написанное им стихотворение «Маркитанты» - о том, как встретились два войска, как маркитанты обеих сторон были посланы на разведку, как они выдали все секреты друг другу - и оба войска полегли наутро. А маркитанты, награбив добра, разъехались по домам.

Маркитанты обеих сторон -
Люди близкого круга.
Почитай, с легендарных времен
Понимают друг друга.

Дальнейшее помню плохо, но, кажется, я держался молодцом.

Утром я проснулся у себя в общежитии с книгой Розанова «Уединенное» в кармане пиджака. Позвонил Юрию Поликарповичу и, не помня точно, подарил он мне ее, или дал только почитать, начал благодарить...

- Книгу пришлешь ценной бандеролью! - сказал он. - Ну, давай! Всех благ!
Я чувствовал себя ужасно гордо.

...Наступает весна 1985 года, я вновь оказываюсь в Москве, на XII Всемирном фестивале молодежи и студентов, живу в гостинице «Россия». Днем я работаю, что-то там делаю для ЦК комсомола, а вечером время у меня свободно. Естественно, я всей душой рвусь к Учителю...и в середине мая мне удастся дважды побывать у него. Вот записи об этом.

18.05.85.

Обе эти встречи (14 -15 мая и 17 мая) произошли, как говорится, «по пьяному делу», поэтому я записываю лишь обрывки... то, что смог вспомнить.

Набрал номер из гостиницы. Батима сказала, что он будет через два часа. Позвонил через два часа. Он говорил доброжелательным тоном, но к себе не приглашал. Я что-то мямлил, спрашивал, выходит ли у него вскоре что-нибудь... он буркал в ответ что-то, потом, все поняв, сказал:

- Ну, ты что - приехать, что ли, хочешь?

- Так ведь вы не приглашаете!

- Ну, давай, приезжай!

Я ринулся в буфет и, решившись сразить Ю.К., взял бутылку итальянского джина за 15 рублей. Кроме того, у меня в дипломате была бутылка коньяка, початая с поэтом Владимиром Фирсовым (я к нему недавно заходил вместе с приятелем, поэтом из Рыбинска Сергеем Хомутовым). Итак, горячего хватит. Поехал к Рижскому вокзалу (оттуда ходит трамвай в сторону Олимпийского проспекта).

Дверь открыла Батима. Я прошел в комнату, где уже сидел какой-то узколиций парень.

- Женя Чеканов.

- Гена Фролов.

Уж не тот ли Фролов, с помощью которого Гена Серебряков обещал пристроить мою рукопись в «Современник»? Нет. Тот, как выяснилось, Леня. А этот гордо охарактеризовал себя так:

- Меня называют собутыльником Юрия Кузнецова!

Фролов с Ю.К. пили медицинский спирт. Мой джин они поставили под стол. Юрий Поликарпович принес окрошку - и началось...Мне хватило трех или четырех стопок, я лег пластом, а они все продолжали. Хозяин принес телогрейку, укрыл меня.

Помню еще маленький казус. Фролов, оказывается, забрал мой джин с собой и поехал домой. По дороге его ограбили, забрали и деньги, и джин. Я выразил сожаление по этому поводу. Но Ю.К. сказал:

- Это отравка! Я ведь попробовал, глоток отпил. Еле удержал в желудке...

Тогда я стал злорадствовать по поводу незадачливого вора.

На прощание он дал мне обещанную книгу <...>. Сказал, шатаюсь:

- Это не бомба, не мина... Это - сильнее. По крайней мере, на меня это лет десять назад произвело страшное впечатление. Поэтому носи, как святыню.

- Я же трезвый! - храбро отвечивал я.

Помнится, еще несколько ранее Дробышев (его давний знакомец, тоже появившийся на кухне) и Фролов засомневались: стоит ли ему давать мне эту книгу? Ю.К. пресек их, уверив, что я - надежный человек.

Через два дня я вновь позвонил ему.

- Ну, что - маешься? - спросил он. - Приезжай.

...Ели мясо, блинчики с мясом. Выпили бутылку коньяка. И говорили, говорили до сумерек.

Я впервые, кажется, взгляделся близко в Ю.К. Отличительная особенность его лица - мощные, грубые складки на верхней губе и меж бровей. Лицо - добродушное, ласковое. Волосы вьются. Несколько золотых зубов.

Говорили о войне. Он дал мне прочесть свое стихотворение об окруженцах. Я прочел и ничего не понял. Он растолковал: два миллиона русских солдат, сдавшихся в плен (а верней, сданных своими генералами) сегодня прокляты в памяти народной:

Они сдаются? Поднимают руки?

Пусть никогда не опускают рук!

Он же сделал из этого образ: люди с поднятыми руками - это одна из опор мира, не слабей других. Он оправдал их, так как в сдаче в плен они не были виноваты.

Рассказал мне, что «власовцы» - ярлык. Власов спас Москву в 41-м году. А потом, в Чехословакии, бойцы его РОА пришли на помощь восставшей Праге - как братья-славяне.

Я спросил, как у него с публикациями, с книгами. Он ответил, что, наконец-то, «прорвало». В издательстве «Молодая гвардия» выходит книга стихов, совершенно новых, кроме одного старого стихотворения. Редактор, некий Зайцев, заставил, правда, убрать всю «пьянку» и всех «богов». Еще в «Современнике» выходит книга и еще однотомник «Избранного» в «Художественной литературе».

- Сразу получу восемнадцать тысяч!

- <...>

Я спросил: как, по его мнению, остается поэт в памяти народной - несколькими стихотворениями, или всем творчеством? Он ответил совершенно определенно: несколькими произведениями.

- Вот ты - останешься у тебя «Страж»...ну, и еще надо несколько. У Есенина, у Блока, у Пушкина, у Лермонтова в творческом наследии очень много лишнего... Тот же «Евгений Онегин» - сколько милой, гениальной болтовни! Остаться в литературе можно даже одним стихотворением...

Он подошел к книжной полке, нашел книжку из серии «Классики и современники» и прочел стихотворение Туманского - о птичке, выпущенной поэтом на волю:

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей.
Я рощам возвратил певичу,
Я возвратил свободу ей.
Она исчезла, утопая
В сиянье голубого дня,
И так запела, улетаю,
Как бы молилась за меня.

- Вот! Он сумел передать живой трепет! И оно - живет!..

Еще говорили о язычестве. Я сказал, что интересуюсь язычеством, чувствую в себе склонность принять его. Он отнесся к этому отрицательно, сказав, что все мы на протяжении многих веков испытывали влияние христианства и не можем быть язычниками, мы - христиане. Я упорствовал, говоря, что я христианин - головой, а сердцем могу быть и язычником. Тогда он снял с полки и дал мне книгу Рыбакова о язычестве древних славян.

Еще обрывки из этих дней:

* * *

Я: - Во мне есть натиск!

Он: - Тогда тебе надо было родиться Киплингом!

Я: - Киплинг тоже был маленький - вот и стал резкий, боевой!

Он: - Нет, это чисто англо-саксонская черта.

* * *

Я: - Я развожусь с женой, Юрий Поликарпович.

Он: - Тогда тебе надо перебираться в Москву.

Я: - Мне и в Ярославле неплохо.

Он (смеясь): - Это комплекс провинциала!

Я: - В Москву... Я там стану клерком!

Он: - Не успеешь! Сейчас Россия в страшном напряжении, все быстро, все мгновенно ломается, все на грани. Не успеешь!

* * *

- Говорят, что поэт Николай Дмитриев на вас молится...

- Да, он монографию обо мне написал.

* * *

Чуть ранее, с Дробышевым. Читает нам (предварительно сбегав в свой кабинет, опечатав там на машинке текст и дав его нам):

Планета взорвана! И в ужасе
Мы разлетаемся во мрак.
Но все, что падает и рушится,
Великий ноль зажал в кулак.

Держа былое и грядущее
В сосредоточенной горсти,
Он держит взорванное сущее
И голоса: «Не отпусти!».

Дробышев (брюзгливо):

- Что еще за «великий ноль»? Опять ты со своими символами!..

Ю.К. (пожимая плечами):

- Откуда я знаю? Надо полагать - Бог...

* * *

Читал еще стихи про Генеральный штаб... я их не запомнил, запомнил только комментарий к этим стихам: будто бы какой-то родственник Ю.К. там работает (брат?), и этот родственник вроде бы признался ему, что они там «занимаются не тем». Недавно вот устраивали «войну всех против всех» - и продули... При этих словах Ю.К., по обыкновению, насмешливо улыбнулся.

* * *

Я рассказал ему и Дробышеву, как лез недавно в Ярославле с пятого на четвертый этаж через балкон (отпирал захлопнувшуюся дверь соседке), как было страшно, когда я посмотрел вниз...

- Никогда не смотри! - заорали они. - Не смотри вниз!

- Это сатана тебя смутил, - убежденно сказал Ю.К.

Когда же Дробышев усомнился в существовании сатаны, Ю.К. воскликнул:

- Сатаны нет? Да он в каждом из нас! В каждом, сидящем здесь! И во мне...

* * *

(Обращаясь ко мне, со смеющимися глазами):

- Ты, функционер...

* * *

(Гневно):

- Они меня «пацифистом» называют... Да я же наношу удары направо и налево! Какой же я пацифист?

Проходит год, вместивший в себя очень многое - мой развод, обмен квартиры, разъезд с бывшей женой, новую свадьбу... На работе у меня все в порядке, газету мою хвалят, хотя с цензурой порой приходится вступать в настоящие сражения; первая книга стоит в плане Верхне-Волжского издательства; я мечтаю о столичной книжке, часто выступаю перед ярославскими читателями. Новые стихи пишу с оглядкой на наставления Учителя: стараюсь быть искренним и думать только высокими категориями... хотя работа в газете ориентирует на прямо противоположное.

Он тоже помнит обо мне: на моем письменном столе лежит его новый сборник «Ни рано, ни поздно» с дарственной надписью: «Евгению Чеканову с пожеланием добра в нашем опасном мире. Юрий Кузнецов. 22.11.85». Вновь и вновь перечитывая эту книжку, я с радостью нахожу в ней стихи, ранее слышанные мною из уст автора, отголоски наших бесед с ним... Вот «На смерть друга», обличающее подругу Юрия Селезнева, которая «отпрянула тенью от мертвого тела» (я сразу вспоминаю разговор в ЦДЛ и возмущенную реплику Ю.К.: «...уехала, бросив труп в Германии. Это - черт знает, что такое!»). Тут же - слышанное мною в тот же день «Учитель хоронил ученика...», о похоронах Селезнева. Рядом - стихотворение «Другой», также явно написанное под впечатлением от этой смерти:

Светит луна среди белого дня.

Умер другой, а хоронят меня.

- Что за безумство! Что за безумство!

Рядом - «Знак»:

О древние смыслы! О тайные знаки!

Зачем это яблоко светит во мраке?

Разрежь поперек и откроешь в нем знак,

Идущий по свету из мрака во мрак.

И первый убийца на этой земле

Несет, как проклятье, его на челе.

Из памяти моей тут же всплывает забытый было разговор с Юрием Поликарповичем об этом стихотворении:

- ...они там, в издательстве, мне говорят: «Резали мы это яблоко - ничего не понимаем». Я им говорю: «Как вы резали? Там же ясно написано: «Разрежь поперек!»!

При этих словах он берет со стола яблоко, на моих глазах режет его ножом «поперек» и показывает мне одну из половинок: пять темных семечек на светло-зеленом фоне явно обозначают пятиконечную звезду...

Вот мини-поэма «Седьмой» с ужасным сюжетом: семеро бандитов насилуют старуху и один из них вдруг узнает в ней свою мать. Осознав, что произошло, бандиты решают смыть вину кровью и убивают друг друга; оставшаяся в живых мать оплакивает детей, их кровь смывает их вину... По привычке вслух читать близким поразившие меня стихи, я читаю эту поэму своей теще, желая удивить ее сюжетом - но старая женщина, крестьянка по происхождению, сбежавшая в город и всю жизнь протрубившая «на вредном производстве», реагирует совершенно неожиданным образом:

- Я эту историю знаю! Это у нас в Ярославле произошло! Я даже место тебе могу показать, где это было!

Подумав, я прихожу к выводу, что мой Учитель использовал так называемый «бродячий сюжет» - из тех, что на Руси всюду признают своим, «тутошним»... но ведь Ю.К. ничего не пишет просто так, он всегда вкладывает в свои стихи тайный смысл. В чем же смысл «Седьмого»? Уж не в том ли, что банда мерзавцев в уходящем веке буквально изнасиловала Россию - и в этом насилии участвовал, как это ни горько признавать, самый близкий ей человек? И всем нам, детям России, так или иначе участвовавшим в унижении нашей матери-Родины, предстоит теперь смыть эту вину собственным страданием и смертью?

Вот стихотворение «Я скатаю родину в яйцо...», заставляющее меня вспомнить, что на обороте одного из присланных мне писем рукою Учителя был начертан другой вариант этой строчки - «Я скатал бы родину в яйцо...». Вот «Фазтон», читанный мне и Дробышеву («Планета взорвана...») - эти стихи тоже явно доработаны, вот «Духи», оставшиеся, кажется, неприкосновенными. Вот «Маркитанты» и «Стихи о Генеральном штабе», читанные год назад - здесь тоже, вроде бы, нет правки. Вот «Сталинградская хроника», с изуродованной редакторами концовкой «Ганс, срывайся! Они наступают!...»; концовка эта зачеркнута шариковой ручкой - и снизу твердым почерком Ю.К. начертан канонический текст: «Ганс, назад! Пусть они заседают!..»

Вот «Фомка-хозяин», ранее опубликованное в одном из журналов и давящее на мою психику темным предчувствием опасности, исходящей от Запада:

Фомка - изрядный хозяин двора,
Но не державы.
А на закате пылает гора,
Блики кровавы.

Глянь: полыхает! Но он не глядит,
Не замечает.



С Батимой



«Кем мы втянуты в дьявольский план?»

Юрий Кузнецов в домашней обстановке (конец 80-х гг.)
(фото из архива Е.Ф. Чеканова)



«Задумавшись, я был ни тут, ни там...»



«Я чихал на подобную гласность!»



Евгений Чеканов, Юрий Кузнецов

- Там ничего моего не горит, -
Так отвечает...

Через несколько лет, когда империя развалится на куски, я не раз вспомню это стихотворение, это мрачное пророчество Учителя - и в который раз пойму, что он, как всякий великий поэт, обладал мощным даром предвидения, прозревал в настоящем черты будущего... а в тот момент я понимаю это стихотворение по-другому: Фомка-хозяин не должен бояться ни кровавого «Запада-заката», ни раскатов грома над головой. Пусть мир «в пропасть летит» - что нам, русским, до этого? Надо стоять на своем, как стоит Фомка:

Топнул ногой, никуда не глядит,
Не замечает.
- Там ничего моего не летит, -
Так отвечает.

Так он стоит, и не сдвинуть его
С точки завета...
Может, и впрямь не летит ничего
С этого света.

Между тем, в стране - оживление; у руля имперской власти встает Михаил Горбачев, провозгласивший «ускорение»...никто, правда, толком не понимает, что это такое, но все чувствуют запах некоей «грядущей весны», особенно мы, газетчики. Весной 1986 года меня вновь вызывают в Москву, на «комсомольскую учебу» - и я вновь стремлюсь попасть в дом на Олимпийском проспекте, в гости к Учителю...

23.04.86.

Позвонил. Он спросил:

- Ты надолго?

Я обиделся:

- Ну, часа на полтора-два...

- Нет-нет, надолго в Москву?

- Послезавтра уезжаю.

Он помолчал.

- Ну...может быть, завтра?

Я согласился.

На другой день, сбежав с выступления секретаря ЦК ВЛКСМ Федосова, я устремился на поиски водки (с этим уже были проблемы, началась «борьба с пьянством»). Спросил у алкашей, где взять. Оказалось, что надо ехать шесть остановок, до улицы Строителей.

Приехал, увидел очередь... человек восемьсот, берут рюкзаками. Вернулся восвояси на Ленинский проспект и купил в «Варне» бутылку коньяка за 13-50.

Приехал на Олимпийский проспект. Меня ждали. Тут же раздался звонок, Батима взяла трубку.

- Юра! Это Катя Крупина...

Я понял, что Катюшке (17-летней дочери Владимира Крупина, студентке журфака, которую отец прошлым летом присылал ко мне в газету на практику), не терпится «позвонить на квартиру самому Кузнецову» - она тоже обожала его стихи.

Ю.К. сказал восхищенно:

- Ну, ты даешь! Не успел войти, тебе уже звонят... Иди, бери трубку!

Поговорил с Катюшкой минуту, потом с Батимой - она все удивлялась: неужели у Володи Крупина уже такая большая дочь?

Сели с хозяином в кресла. Он, как всегда, холодно помолчал минуты две, потом улыбнулся и спросил, как моя молодая жизнь. Я сказал, что отпустил жену в Питер, в аспирантуру, к античнику Фролову на обучение. Он хмыкнул:

- Что ж это за молодая семья?

- Я не мог разбить ее мечты...

Разговор не вязался, я достал коньяк. Ю.К. матюгнулся. Сказал, что он пьет только водку, но все почему-то идут к нему с коньяком - и только с этим, азербайджанским. Водки-то в магазинах нет, вот все и покупают коньяк...

- У тебя еще ничего, за 13-50. А то все несут за 11-50, это - нечто убийственное!..

Заметил, что мне придется выпить львиную долю, ибо он «сбавляет обороты».

Батима принесла закусь. Привычно пожаловалась:

- И вы с бутылкой? Хоть бы один пришел без бутылки...

Выпили, стали говорить. Он сказал, что сегодня в 21.40 его будут показывать по телевизору, он прочтет и мои стихи (если не вырежут). Спросил, читал ли я дискуссию о нем в «Литературной газете».

- Нет. А кто спорит?

- Рассадин. Злобная статья...

- А за вас кто?

- Валентин Устинов.

- Это хорошо, что он стал секретарем, - заметил я, - он вас любит...

Он помолчал.

- Зато меня другие секретари не любят, большие. Исаев... Я его, кстати, ругнул, когда записывали на телевидении. Вырежут...

Я спросил, какое сейчас время.

- Для меня-то хорошее. Стаж все-таки. А молодые стонут...

Пошли речи о том, кто его душит.

- «В «Вопросах литературы» очень злобная статья обо мне. Сколько злобы кругом...

- А Друнину - натравили, или она сама? Тогда, в «Правде»...

- Конечно, натравили! Олег Чухонцев... я не знаю, конечно, как он ко мне относится, полагаю - лояльно... он сказал, что ее после этого выступления - вообще больше нет. Не существует!

- Но хоть кто-нибудь в вашу поддержку выступает?

- Да есть... - ответил он нехотя. - Даже в ту же «Правду» предлагали материал обо мне... Евгений Осетров. Отвергли... Еще профессор Федоров из Донецка пишет, поддерживает... Палиевский? Ну, он больше по прозе. Ильин? Да... Лавлинский? <...> Аннинский? <...>

- Но он же вас в «Венке критических сонетов» высоко поднял...

Ю.К. (усмехаясь):

- Он не может мне простить «Маркитантов»...

- А вот Дедков такой в Костроме есть... Он - кто?

- <...>

Я сказал, что читал статью Кожинова в «Литературной России» о периодизации современной отечественной поэзии...

Он махнул рукой:

- Ерунда все это! Через двести лет останется только один поэт. Его и будут помнить. А кому нужны будут эти периодизации?

- А кто из молодых поэтов сейчас, на ваш взгляд, лучше всех пишет?

- Лапшин. Поэму написал. Был недавно.

- А Шелехов?

- Шелехова уже нет! Если б он мне по пьяному делу в морду дал - это бы еще куда ни шло. Но после того, что он сделал - его нет!..

Его то и дело звали к телефону. Он вставал, извинялся, говорил, что сегодня день такой - косяком звонят.

- А много вообще у вас бывает народу, Юрий Поликарпович?

- Много.

- А чего все хотят?

- Урвать... - по обыкновению, насмешливо ответил он (и мне тут же вспомнилась его давнишняя строчка «каждый хочет урвать от огня...»). - Недавно вот звонили две девушки из какой-то области...специально приехали, чтобы увидеться. Я сказал: нет, это невозможно!

В его отсутствие мы выпили с Батимой. Она спросила, почему я разошелся с первой женой. Я ответил, что плохо жили. Спросил, в свою очередь, почему они не приехали на свадьбу мою (я приглашал). Ответила, что лень было собираться, готовиться... Еще я спросил, чем она занимается. Оказывается, работает переводчицей в Верховном Суде - переводит с казахского, киргизского, украинского...

Вдруг ворвался Ю.К., сунул мне книжку своих переводов Ласло Надя.

- Прочти «Свадьбу»!

И опять ушел звонить.

Этот поступок меня расстрогал: разговаривая с другими, он думал о том, чтобы мне не было скучно!

Вернулся, выпили еще.

- Моя шестилетняя дочь, - сказал я, - тоже тут недавно стихотворение написала:

Цапля ногу подняла,

Плавно опустила.

Вот какие, брат, дела -

Цапля ногу подняла!

- Ну, что ж, - заметил он с той же насмешливой улыбкой, - некоторые взрослые дяди пишут и печатают ничуть не лучше...

Я сказал, что хотел бы подарить ему сюжет - и рассказал историю о змее и солдате, которую недавно поведал мне мой водитель: как русский солдат в Афганистане приручил змею, как она однажды обвила его и удерживала, шипя, целый час - и как потом он, посев за этот час, пошел к сослуживцам и увидел, что все они вырезаны душманами. Он слушал с интересом, по окончании поднял бровь, усмехаясь:

- Восточный сюжет...

Потом опять вышел на кухню, откуда то и дело раздавались телефонные звонки. Вскоре оттуда донесся его громкий рассерженный голос:

- Но ведь меня же много лет, постоянно, принципиально не желают печатать в журнале «Наш современник»! Принципиально!..

Поневоле вслушиваясь в эту тираду, я почувствовал себя несколько сконфуженно: самого-то меня в прошлом году в этом журнале публиковали дважды. Вспомнил, что Шитиков, заведомо поэзии, в ответ на мой вопрос на ту же тему (почему «Наш современник» не печатает Кузнецова) пожал плечами и показал глазами на потолок:

- Не знаю... главный не ставит. Мы взяли у Кузнецова для публикации «Сказку гвоздя»... не ставят... Это, брат, ты у начальства спрашивай, а не у меня.

Я стал бродить по кабинету Ю.К., вглядываясь в названия книг. Нагло бросил взгляд на его бумаги, лежащие на письменном столе, пробежал глазами несколько строчек... Как раз в это время он вернулся. Я спросил, кивая на бумаги:

- А разве «Сказка гвоздя» и «Пролог» - это часть одного целого? Я и не предполагал...

- А вот это уже нельзя, - сказал он мягко, но строго. И решительно отогнал меня от стола.

Допили коньяк, пошли смотреть телевизор. Он предполагал, что сюжет о нем вообще выкинут, - но вдруг, после Кондратьева и Быкова, на экране появились он и Кожин. Вся семья радостно загудела и засмеялась: наша берет! Папу по телевизору показывают!

Ю.К. прочитал несколько своих стихотворений, а потом моего «Стража», сказал, что я, конечно, не свободен от заимствований, но в лучших стихах...

Это был триумф! Я бросился к телефону, позвонил Катюшке:

- Видела?

- Да! Да!

Звонили еще какие-то люди, поздравляли Ю.К. Позвонил Кожинов. Я набрался наглости, попросил у Ю.К. трубку, поздоровался с Вадимом Валериановичем и попросил разрешения прочесть стихотворение. Тот сказал, что со слуха не воспринимает, и что если бы я не уезжал, то мы бы познакомились...

Потом говорили с Ю.К. о моем «Страже». Я сказал, что он навеян известным памятником в Мурманске. Ю.К. отозвался о памятнике резко отрицательно:

- Гадость! Истукан!

Я стал объяснять, что я писал, конечно, о другом, хотел передать то-то и то-то... Он оборвал:

- Ну, будем считать, что ты писал не об истукане.

Пора было уходить.

- Когда появишься опять?

- Не знаю. Может, осенью...

- Машина у тебя есть?

- Да... А что?

- Да...я думаю - может, и приехать когда бы в Ярославль. На рыбалку там...

- На рыбалку? Ну, это можно устроить!

- Да нет... не надо ничего устраивать. С удочкой посидеть, так просто... Да ладно!

Кажется, именно в этот мой приезд Батима провожала меня до трамвая (ей было по пути), разговор зашел о семейной жизни.

- Трудновато вам с Юрием Поликарповичем, - осторожно заметил я. - Пьет он много... такие, как я, наверно, валом к вам валят...

Батима махнула рукой:

- Я своим детям еще давно сказала: «Ваш папа - гений, ему позволено все!»

Через час из гостиницы я звонил Катюшке, пьяным и счастливым голосом рассказывал ей обо всем...

Через месяц, в майском номере «Нового мира» появляется письмо Марка Соболя «Прошу слова», адресованное Юрию Кузнецову: старый поэт-фронтовик нападает на моего Учителя за несколько строк о стихотворении Симонова «Жди меня» (несколько раньше в «Литературной учебе» Юрий Поликарпович квалифицировал это стихотворение как агрессивный эгоизм чистой заморской воды, не имеющий ничего общего с народным воззрением на любовь). Соболев мечет громы и молнии, жалеет, что «дуэли отменены, а пощечины подсудны», а затем в жалких, кое-как зарифмованных строчках наступает Юрию Поликарповичу на «большую мозоль»: напоминает, что он, Соболев, как и погибший на фронте отец Кузнецова, тоже воевал. И подначивает:

Ну, а вдруг с отцом его делили мы
На двоих табак да котелок?

Уверенный в том, что публикация письма Соболя - спланированная акция, призванная спровоцировать моего Учителя на еще более резкие высказывания, я с трепетом ожидаю продолжения этой полемики. Слава Богу, скандал затухает в зародыше: видимо, Ю.К. просто не счел нужным далее продолжать разговор. Тем более, что по существу дела Соболев не сказал ничего, ловко подменив тему: Юрий Поликарпович говорил о мировоззренческом расхождении симоновского стихотворения с народным взглядом на любовь, а Соболев заявил, что критиковать «Жди меня» - значит кощунствовать.

Выстрел «Нового мира», таким образом, не достигает цели; легким эхом чуть позднее, на 8-м съезде писателей СССР прозвучит злобная реплика Друниной, половину своего выступления посвятившей нападкам на Кузнецова (что-то там такое об отважной фигурке Соболя, одиноко взлетевшей на бруствер и никем не поддержанной), - но на этом дело и кончится. Впрочем, мне предстоит узнать об этих «невидимых миру» боях только через

два года, когда будет опубликован стенографический отчет писательского съезда. Пока что я осознаю только одно: война продолжается, и мой Учитель - на переднем крае.

Осенью 1986 года я с помощью Сергея Хомутова «пробиваю» еще одну свою книжку - она должна выйти через год в Москве, в библиотечке журнала «Молодая гвардия»; редактор - Игорь Жеглов. Юрий Поликарпович благосклонно соглашается написать к этой книге вступительное слово. Кроме того, стихи мои должны через год появиться еще в двух коллективных сборниках издательства «Современник», надеюсь я и на публикацию в новом «Дне поэзии». Начиная с весны 1985 года, меня регулярно публикует в «Нашем современнике» Сергей Викулов (а тираж у этого журнала вдвое больше, чем у «Дня поэзии» - аж 220 000); проскакивает подборочка в «Волге»; на подходе давным-давно поставленная в план Верхне-Волжского издательства книга стихов «Ночная тревога»...я начинаю всерьез подумывать о вступлении в Союз писателей СССР и о будущем уходе на «вольные хлеба». В трудах и ожидании проходит год.

И вот наступает осень 1987 года...мы с женой возвращаемся из поездки на юг и вдруг в вагоне я вижу девочку-подростка, читающую мою первую столичную книжку «Осветить лицо». Значит, книжка уже вышла в свет? Я узнаю ее по давно известному мне рисунку: на юное лицо набегает лунный лик...все-таки слишком прямолинейно понял художник название! Ну да ладно, самое главное - книжка уже появилась в продаже, ее покупают и читают! Я выскакиваю на перрон на каждой остановке - и вот, наконец-то, в одном из киосков «Союзпечати» покупаю единственный имеющийся там экземпляр. Вот она!.. я держу в руках первую собственную книгу, изданную в Москве! Вновь перечитываю свои стихи и, в который уже раз - предисловие, написанное Учителем:

«Приход каждого молодого дарования всегда радует: еще одна надежда, еще одно обещание. Правда, радость тревожна: а исполнится ли обещание? Это покажет время.

Евгений Чеканов обещает. Он не блуждает в метафорических туманах, не вязнет в рутине абстракций, а ищет точного слова. Видение его не расплывчато, а конкретно, у него верные ориентиры: родина, добро, правда. Родина дает ему твердую почву под ногами, а добро и правда - свет и путь.

Конечно, по пути в страну поэзии не обошлось без посторонних влияний, но Чеканов строг к себе и намерен их преодолеть. Стих его предметен, зорок, четко сфокусирован, бытовые сцены, житейские мелочи, полные потаенного смысла, следуют в стихах одно за другим, как кадры в кино. Он хочет много схватить, увидеть. При этом молодого задора и напористости ему не занимать.

Я все начинаю сначала,
Я снова хочу побеждать.

Он по натуре боец и хочет побед. Похвально. Но есть ли они у него? Есть. Впрочем, пусть об этом судит читатель. Я укажу одну безусловную победу. Это стихотворение «Страж Заполярья».

Имя есть. Но не так уж и важно,
Как потомки его нарекли.
Быть осталось ему - только стражем
Этой каменной русской земли.
Только стражем! Ни милым, ни мужем,
Ни веселым и сильным отцом...
Эти облики вымело стужей
И сожгло беспощадным свинцом.

Тут и сила, и мужество, и беззаветная преданность Родине, а главное - краткость. Так оно и должно быть: большое чувство немногословно.

Юрий Кузнецов».

Проходят еще три недели; я еду в Москву на очередную «комсомольскую учебу», везу с собой предназначенные для дарения экземпляры обеих книжек («Ночная тревога» тоже уже вышла в свет) и шесть бутылок водки - напряг со спиртным в стране продолжается.

30 сентября вновь попадаю на Олимпийский проспект, вновь поднимаюсь на 15-й этаж...а спустя примерно месяц записываю для памяти, «как оно было».

...10.87.

Вновь та же квартира, та же комната. Батима с кухни здоровается со мной, как со старым знакомым. Да я и есть старый знакомый!

- Вы еще не член Союза? - спрашивает она.

- Нет еще. Собираюсь только.

Ю.К. в добром расположении духа.

- Ну, как там «ускорение» у вас идет? - спрашивает он насмешливо.

- Да так... - машу я рукой.

- А ты знаешь, что в переводе с восточных языков означает «ускорение»?

- ?

- «Пилить струны»!

- «Пилить струны»?

- Да!

- Как это?

- Ну, струны...их обычно перебирают, создавая музыку, гармонию... А тут пилят! - и он делает движение рукой, будто что-то пилит ножовкой.

Тут уж и до меня доходит - и мы вместе с ним хохочем.

- Ну, что - вышла твоя книжка?

- Вышла... - я открываю дипломат, подаю ему «Осветить лицо». Заодно и бутылку водки ставлю на стол.

- Ага...- листает он мою книжечку. - Это что ж такая тоненькая? Это разве книжка? Сколько листов? Один и три... Что, много вырезали?

- Да вроде нет... А вы посмотрите - ваше предисловие не сократили?

Внимательно читает.

- Нет, все так... А твой редактор говорил - трудно идет, будут резать. Ну, что ж... вон тебе комсомол даже свечку на обложке нарисовал!

- За полгода вышла, - хвастаюсь я. - А у вас ничего вскоре не выходит?

- Какой быстрый! - качает он головой. - Поднимает рюмку. - Ну, давай! За твои успехи!

Закусываем. Разговор идет о членстве в Союзе писателей. Ю.К. говорит, что хотя бы одну рекомендацию надо брать у себя в организации. Правда, бывают и исключения. Например, он дал не так давно рекомендацию Юрию Доброскокину: того в Воронеже душили, не принимали, и он прошел в СП, минуя Воронеж.

- Да и у меня тоже... неизвестно, как будет, - замечаю я. - Есть враги...

Речь заходит о приемной комиссии СП РСФСР. Юрий Поликарпович перечисляет всех, кто, кроме него, туда входит.

- Ну, а все-таки русские люди перевес имеют?

- Разные есть... Вон Романов, вологодский...Недавно такую чушь нес! Это ж уши вянут, что он говорит!

- Так ведь и у нас такие же! - кричу я, уже опьяневший. - И у нас! Бездари! А всех талантливых называют жидами!

Выпиваем еще по стопке. Я спрашиваю, каково его мнение о Емельянове, о «Памяти».

- Читал я эту «Десионизацию»! - машет он рукой. - Да ну... Что, до Емельянова никто с Сионом не боролся? И с масонством тоже... Ты что же, хочешь под знамена Емельянова? Брось... Начни-ка его внимательно читать - обнаружишь ложь. Там у него богатырь кресты с церковью сбивает из лука... Это что же - и Сергия Радонежского долой? Прокол!

Начнешь дальше читать - опять прокол... «Единый антимасонский фронт»... Да он же сам масон! Ы? Сам масон!

Смеется, показывая золотые зубы. Он удивительно смеется - сразу становится похожим на лопухого мальчишку.

Разговор о «Памяти» продолжается. Я рассказываю ему то, что Вячеслав Кузнецов однажды рассказал мне и Вовке Кудрявцеву - как «Дим Димыч» в свое время их, «отцов «Памяти», выщелкал из «Памяти».

- Вот, ты даже так знаешь... - удовлетворенно говорит Ю.К. - Я этого не знал. Я вообще далек от этой «Памяти». Васильев этот... он своим крайним антисемитизмом, может быть, все дело портит, своими криками...

- Может, это провокация? - предполагаю я. - Специально такого Гапона новоявленного подталкивают, чтобы опорочить все движение...

- Ну, я не знаю. Это ты политик, - смеется Ю.К. - А я всего лишь идеолог...

Выпиваем еще. Разговор идет.

- Пишут про вас опять, Юрий Поликарпович, в «Литобозе».

- Ругают?

- Хвалят.

- Не читал. Раньше все читал, что обо мне писали, а потом бросил.

- А Глушкова половину книги вам посвятила. Хлещет вас, что есть мочи.

- Это личное, - убежденно говорит он. - Она сначала очень мной интересовалась, все ходила, указывала мне, что писать, что не писать, командовать начала. Это не говори, это говори, туда ходи, туда не ходи... Мне надоело, я сказал: «Вон!..»

Ю.К. делает мощный жест. В эту минуту он величественен.

- «Вон!..» - говорю. С тех пор она на меня и злится...

Я дарю ему «Осветить лицо» с дарственной надписью «Моему любимому неускоряющемуся поэту». Показываю новые стихи. Он хвалит одно, о старухе, плетущейся с рюкзаком, но рекомендует усилить его следующим образом: «жизнь стоит на месте» заменить на «мы стоим на месте».

- Мы стоим, а она все-таки идет! Ы?

Говорит, что написал недавно эссе о женской поэзии, дает мне его прочесть. Мне западают в память строчки: «рукоделие - тип Ахматовой, истерия - тип Цветаевой...»

Домой я добираюсь на «автопилоте»: все таки выпили мы с ним на двоих литр водки. Правда, закуска была...

Середина ноября 1987 года; наверху - некоторый откат назад от «перестройки» и «гласности», Ельцина из верхнего эшелона выкидывают. Вообще, кажется, возвращаются прежние времена: из обкома ВЛКСМ мне поступает указание перепечатать из «Комсомольской правды» статью ведьмы Лосото «Божественная» полемика». Я не верю секретарю обкома комсомола, сказавшему мне об этом, звоню в Москву заведующему сектором печати Юрию Пилипенко: правда ли это?

- Правда, - говорит он. - Это - указание вышестоящих товарищей...

Впрочем, все это меня не так уж сильно трогает. Я занят своими делами: пишу стихи, готовлю документы для вступления в СП СССР, вечерами усердно читаю книгу Сергея Нилуса «Близ есть при дверях», данную мне на несколько дней под страшным секретом. В эти дни мне на новой квартире ставят, наконец-то, телефон - и я звоню Ю.К., чтобы сообщить ему свой номер.

- Юрий Поликарпович!

- Да.

- Это Чеканов.

- А! Здорово!

- Мне телефон поставили. Вот звоню, чтоб вы записали номер.

- Ага. Сейчас. Ну, как твои дела?

- Рекомендации собираю. До Нового года велели сдать.
- Ага. Ну, хорошо. Как молодецкие силы?
- Втянули головы. И смотрят, что там у вас происходит.
- А! Как черепахи?
- Ага. Ну, вы пишете?
- Кое-что.
- Нет, номер записываете?
- Сейчас, вот ручку принесут. Ну, давай...Та-ак...Ну, хорошо.
- Звоните, если что. Извините, что побеспокоил.
- Ну, давай!

В декабре политическая ситуация в стране становится еще более тягостной. Один из моих сотрудников, съездив на слет «неформалов», рассказывает ужасные вещи. В своем дневнике я записываю:

«...происходит то, чего и следовало ожидать - они хотят сломать государство... Их враги - государство и «великорусский шовинизм». А «неформалы» эти - альтернатива прогнившему комсомолу. На слете этом, оказывается, прямо говорили о том, что в середине 90-х годов у нас будет гражданская война...Похоже, что в стране налицо противоборство четырех сил <...> Есть, конечно, и другие группировки, но эти видны невооруженным глазом. У них имеются даже свои собственные журналы и газеты. На Ярославском моторном заводе недавно произошла стачка, была демонстрация. КГБисты у нас в редакции выступали, заявили: «Это - не наше дело, пусть сами там, на заводе, разбираются...»

За политической ситуацией я, таким образом, кое-как слежу и некоторые тенденции, кажется, улавливаю - но все мои душевные устремления направлены по-прежнему к литературе. В это время я получаю письма от Владимира Бояринова и Петра Палиевского: оба пишут мне добрые, хорошие слова. Палиевский, как и Юрий Поликарпович в свое время, отмечает в лучшую сторону стихотворение «Враг» (то бишь, «Эпизод»), а Бояринов присылает книжку с дарственной надписью. Присылает свою книгу и литовский поэт-верлибрист Витаутас Бложе, с которым я несколько лет назад познакомился, когда лечился в Друскининкае - Бложис меня очень любит и ценит.

14 января 1988 года на собрании ярославских писателей меня «на ура» принимают в Союз писателей - из 17 присутствующих 17 голосуют «за». Таким образом, начинает сбываться моя многолетняя мечта - стать членом СП СССР. Теперь можно готовиться и к уходу из осточертевшей журналистики...я начинаю было вести тайные переговоры о своем переходе из газеты в краевое книгоиздательство, на пост главного редактора. Но вскоре приходит весть: коллектив издательства против меня, мешает мое газетное амплуа «агрессора».

Весной того же года я готовлю рукопись третьей поэтической книги для издательства «Современник», отдаю стихи в журналы «Москва» и «Молодая гвардия», где мне благоволят; в мае еду в Мурманск на семинар молодой поэзии Севера. В сентябре меня принимают в СП СССР уже в Москве. А в октябре я совершаю поездку к автору рецензии на мою грядущую третью книжку - поэту Виктору Лапшину. Живет он в Костромской области, в городе Галиче; увидевшись как-то на одном из писательских сборищ, мы договорились встретиться - и вот я еду к человеку, который, как и я, «вырван из бездны» Юрием Кузнецовым...

...Проходят почти полтора года, в течение которых мне доводится раз пять-семь побывать в гостях у Юрия Поликарповича. Разговоры с ним я уже не записываю (о чем впоследствии очень сожалею), ибо считаю, что ничего нового к его портрету мои записи более не добавят. Я уже называю его на «ты» и разговариваю с ним почти на равных; наши встречи проходят по одному сценарию - мы пьем, закусываем, обсуждаем его и мои стихи, треплемся обо всем на свете...

Во время одной из встреч я рассказываю ему о своей поездке к Виктору Лапшину, живописую детали этой встречи, рассказываю о Витином сыне-инвалиде. Внимательно выслушав, Ю.К. морщится:

- Правильно я не поехал...он ведь приглашал меня. Я - очень впечатлительный... очень впечатлительный! Правильно сделал...

Осенью 1989 года выходит в свет его очередной сборник «После вечного боя». Я нахожу в нем стихотворение «Голубь» - и сразу вспоминаю рассказ Ю.К. о мальчике из еврейской семьи, который кричал прохожему, отобравшему у детей голубя: «Дяденька, что ж вы делаете, его ж продать можно!» Раздумье моего Учителя о глубинных корнях такого поведения (откуда это в них? почему это так глубоко в них?) вылилось в стихотворении в чеканные строки, проникнутые христианским мироощущением:

Курчавый Ицек подскакал, как мячик,
И человека начал осаждать:

- Отдайте мне!

- Зачем тебе он, мальчик?

- Поймите! Я бы мог его продать!

Звенело что-то в голосе такое

Глубокое, что вздрогнул человек.

- Пускай летает, - и взмахнул рукою.

- Пускай летает! - повторил навек.

Все видела и слышала старушка,

Дремавшая у господ в горсти.

И, как в бору печальная кукушка,

Запричитала: - Боже, возврати!

Так, значит, есть и вера, и свобода,

Раз молится святая простота

О возвращенье блудного народа

В объятия распятого Христа.

Для меня эти строки становятся почти открытием: неужели Юрий Поликарпович всерьез верит, что иудаизм - всего лишь «заблуждение» евреев, что Христос, раскинувший в вечной крестной муке свои руки, до сих пор ждет, что в его объятия возвратится и «блудный народ»? Может быть, и так...хотя в самом стихотворении об этом возвращении молится не автор, а старушка (олицетворяющая, естественно, русских). Автор же убежден только в том, что «есть и вера, и свобода» - и применительно к поднятой теме это, наверное, можно понять так: эта вера и свобода есть, прежде всего, у нас - русский православный народ доселе верит, что путь к Христу для евреев не закрыт, свободен, мы верим, что именно по этому пути они, в конечном счете, и пойдут...

Вообще, по сравнению с прежними книгами, в этом сборнике христианское начало явлено гораздо резче, это бросается в глаза. Вот «Портрет Учителя» - прямо об Иисусе Христе. А «Ложные святые», «Видение», «Число» - это борьба с сатанизмом, пришедшим на русскую землю...похоже, Юрий Поликарпович окончательно утвердился на позициях ортодоксального православия. Или он всегда на них стоял - а я, по недомыслию своему, раньше об этом просто не задумывался как следует?

Листаю сборник: многие из этих стихотворений Ю.К. читал мне во время наших встреч. Вот про «свечу закона и солнце благодати»...помнится, как-то Юрий Поликарпович обмолвился, что хочет перевести на современный язык «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона - эта тема явно оттуда. Вот «Родное»... так значит, Буденный и Махно - это не враги, а братья?.. для меня, выпускника советского истфака, такая логика - почти открытие. Вот знаменитое «Откровение обывателя», читанное мне еще в самом начале горбачевской «перестройки» и опубликованное затем в «Новом

мире»...так и вижу перед собой перекошенное яростью лицо Учителя, слышу его возмущенный голос:

Кем мы втянуты в дьявольский план?
Кто народ превратил в партизан?
Что ни шаг, отовсюду опасность.
«Гласность!» - даже немые кричат,
Но о главном и в мыслях молчат,
Только зубы от страха стучат,
Это стук с того света, где ад.
Я чихал на подобную гласность!

А вот и триптих о Ленине, который мне, давно уже ненавидящему «Ильича», не совсем понятен: так «за» или «против» Ленина стоит мой Учитель? Окончательно ли он определился в своей позиции?

Вот «Захоронение в Кремлевской стене», высмеивающее геронтократов, стремящихся попасть в историю России хотя бы в виде коробочки с прахом; вот «Полет» - о пролете ангела над Чернобылем...и я сразу вспоминаю реплику Юрия Поликарповича:

- Эти места вообще загадочные...я пролетал над ними. Даже названия там такие... Страхолесье, например... Об этих местах, кстати, еще Вернадский писал...

Вот «Превращение Спинозы», «Молчите, Тряпкин и Рубцов...», «Наваждение»... все это я уже слышал. А вот «В деревне», написанное, как мне кажется, после моих рассказов о своих предках (похоже, Ю.К. эти рассказы запали в душу и он тоже кое-что предпринял для исследования собственной родословной).

Любовная лирика представлена тоже... несколько сильнейших стихотворений на эту тему потрясают меня. А вот «переделанные анекдоты» оставляют иное впечатление: неужели Юрий Поликарпович полагает такую переделку делом перспективным?

В сборнике есть несколько переводов, обозначенные как «стихи, созданные по мотивам» - Байрон, Китс, Мицкевич... а вот и перевод «Пьяного корабля» Артюра Рембо. Эти переводы меня, ранее не знакомого с этой стороной творчества Ю.К., прямо-таки ошарашивают: оказывается, мой Учитель легко вживается в мироощущение каждого из этих поэтов, таких разных... он чувствует себя в разных стихиях, как рыба в воде! «Пьяный корабль» буквально пьянит меня, я перечитываю его множество раз - и постоянно спрашиваю сам себя: в чем же причина? это Рембо гениален - или перевод?

Новая книга еще раз убеждает меня в том, что мой Учитель находится на переднем крае - переднем крае русской поэзии, русской философии. Сам же я в эти времена продолжаю печататься в «Нашем современнике» и даже достаиваюсь некоторых нападков во враждебной этому журналу прессе: мое стихотворение «Гроздь», которое кое-кто в редакции викуловского издания именуется чуть ли не «манифестом», некий Анатолий Пикач поливает в «Литературной газете» зловонной грязью... впрочем, это вызывает у меня лишь радость: если я не нравлюсь врагам - значит, стою на верном пути. Книга моя в издательстве «Современник» готовится к выходу в будущем году, я связываю с ней большие надежды, много пишу нового.

Нашему знакомству с Ю.К. скоро двадцать лет; в своих мыслях и записях о нем я уже позволяю себе не только восторженные оценки...Вот запись середины зимы 1990 года.

13.02.90.

Вчера узнал, что Ю.К. <...>. А когда по телефону ему позвонил какой-то молодой поэт из Одессы, он, подбоченившись, говорил в трубку:

- Вы что? Я Блока критикую! А вы кто? На что вы надеетесь?

Я, конечно, списал это поведение на то, что он был пьян... но вот в чем штука: я это не у него одного наблюдаю. Таков же и мой ярославский приятель К. - когда его избрали в

бюро писательской организации, он напился пьян и стал качать пальцем у моего носа, говоря:

- Ну, теперь твоя песенка спета!..

Откуда эта фанаберия, это хвастовство, «купечество»? Реакция на прежнюю загнобленность? Национальная черта?

Да ведь и я такой же, особенно в пьяном виде! Ничуть не лучше. Эх, русачки...

Болтали о том, о сем. Он собирается в Японию, в туристическую поездку. Я спросил о смысле «Запломбированного вагона»,

- Речь о том, что идея - пустая, - ответил он, - матрос хотел увидеть, что за идею привез вагон, открыл - а вагон пустой.

- Но это ведь еще Мор с Кампанеллой выдумали...

- Да-да-да!.. Это эти гады, утописты...

Тем временем в стране мало-помалу начинается брожение. В конце февраля в Ярославле по призыву «межрегиональной депутатской группы» проходит митинг против «партократии», за «многопартийность», собравшиеся машут лозунгами «Руки прочь от Гдьяна-Иванова», «Сахаров - совесть нашей страны» и т.д. В дневнике я записываю:

«Вот странный оскал времени - главное противоречие затушевано, выступает в облике борьбы между якобы «консерваторами», «стагнатами» - и якобы «радикалами». И надо быть либо за тех, либо за этих. А я - ни за тех, ни за этих, я - за русских. Но так, оказывается, нельзя. Нельзя быть «за Россию», надо - либо за Россию «стагнатов», либо за Россию «радикалов»...И вот я думаю: почему же так - нельзя? И кому это надо, чтобы так было нельзя? Кому это выгодно? И еще думаю: а ведь это все уже было в нашей истории, было...Что же, опять: сын на отца и брат на брата?»

Журналистская работа осточертевает мне, я буквально рвусь из газеты - и именно в это время, в начале весны 1990 года предлагаю свою кандидатуру на пост главного редактора журнала «Русь», который создается у нас в Ярославле. Но неудачно: «братья-писатели» не видят меня в этой роли, я для них - не слишком правоверный «русофил»...а кое для кого, пожалуй, и «жид». Кажется, именно в это время мне приходится услышать почти анекдотическую историю: в писательском домике на улице Терешковой сидят два местных литератора-«русофила», пьют водку и клеймят евреев. На улице - темная ночь, двери домика заперты изнутри на ключ, кроме этих двух людей, в помещении больше никого нет. И вот, пугливо оглянувшись, один из литераторов шепотом (!) говорит другому:

- Слушай, а Чеканов - не еврей?..

В истории с «Русью» меня больше всего поражает поступок того самого К., которого я за пятнадцать лет близкого знакомства привык уже считать своим другом: при обсуждении моей кандидатуры он заявляет буквально следующее: «Если Чеканов станет редактором, он нам всем тут башки пооткручивает!»

Спустя много лет этот человек вновь начнет набиваться мне в друзья, будет объяснять, что, мол, «тогда я тебя боялся», а потом, после моего отказа возобновить прежние отношения, напьется в хлам - и весь вечер будет то костерить меня на чем свет стоит, то плакаться в жилетку своей сожительнице...но тогда, в марте 1990 года, он вместе с другими «ярославскими писателями-патриотами» закроет мне дорогу, о которой я давно мечтаю - и «толстый» литературный журнал я создам только через полтора десятка лет.

Мое огорчение в эти весенние дни 1990 года несколько скрашивает весьма лестное предложение, поступившее от обкома партии: возглавить единственную в области партийную газету «Северный рабочий» с тиражом 120 000 экземпляров. Очевидно, мою кандидатуру в местном «Белом доме» считают «срединой», устраивающей и коммунистов, и «демократов». Я, однако, наотрез отказываюсь от этого предложения (о чем впоследствии буду неоднократно жалеть). Мотивировка все та же: я хочу быть писателем, а не журналистом...

Мои творческие устремления подогреваются очередной серьезной публикацией в «Нашем современнике»; стихи для нее отбирает Юрий Поликарпович, с недавних пор сотрудничающий с этим журналом, поэтому подборка получается весьма солидной - а одно стихотворение из нее вскоре перепечатывает нью-йоркская газета «Русский голос». Я узнаю об этом от своего знакомого, работника местного издательства.

- Мне тут ребята из КГБ газетку принесли с твоими стихами, - звонит он, - зайди, возьми на память.

Я захожу, беру: и правда, Нью-Йорк. Однако!.. не зря свой хлеб едят ребята, каждый чих отслеживают, - думаю я. - Наверно, в Конторе Глубокого Бурения на меня специальное дело заведено, вот и эта газетка в особую папочку аккуратно ляжет...

В начале сентября мы с Юрием Поликарповичем встречаемся вновь; на память об этой встрече у меня остается книга его переводов «Пересаженные цветы», которую я специально везу из Ярославля в Москву, дабы получить дарственную надпись. В поезде еще раз листаю ее и еще раз убеждаюсь в безусловном поэтическом гении Юрия Кузнецова. Перечитываю ту самую «Свадьбу» Ласло Надя...

... радуясь, море, стоим мы и тихо цветом
на каменистом утесе, открытые миру
по приказанию белых, как пена, бород,
за руки взявшись, конца церемонии ждем...

...вновь с восхищением погружаюсь в магическую стихию «Пьяного корабля»...

...Ледники, перламутровый свет, водопады,
Глубь фиордов, сосущий провал пустоты,
Где кишасшие вшами гигантские гады
Наземь падают, с треском ломая кусты...

...со священным ужасом знакомлюсь впервые с творчеством сербохорватского классика Мирослава Крлежи...

...хлев на трех столбах дымится, словно это на холме
тридцатью тремя ходами брезжит мельница во тьме,
тайна ада в рваных тряпках, тьма в расстроенном уме,
зад елозит, как на санках, в своем собственном дерьме -
это яд бесовских лакомств, поклонение чуме...

И тут живо вспоминается мне, как в одну из предыдущих встреч Ю.К., как раз в те времена переводивший этого самого Крлежу, тыкал пальцем в эту строфу и говорил мне с гордостью:

- Очень близко к оригиналу!..

Впрочем, в этот период Юрий Поликарпович, кажется, более всего гордится своей работой над «Орлеанской девой» Фридриха Шиллера; в ответ на какой-то мой вопрос относительно перевода этой романтической трагедии он замечает горделиво:

- Текст так и льется... - и даже показывает рукой, как льется его поэтическое слово.

Я показываю ему газету «Русский голос» с моим стихотворением:

- Юрий Поликарпович, а меня в Америке опубликовали. Это из той подборки в «Нашем современнике» перепечатали, из тех стихов, что ты отбирал...

Он мельком смотрит, удовлетворенно хмыкает. И подытоживает:

- Та подборка - лучшая твоя публикация на сегодняшний день.

Я дарю ему свою третью московскую книжку «Место для веры», только что вышедшую в «Современнике». А домой увожу книгу переводов с дарственной надписью: «Евгению Чеканову с надеждой на образование (!!!). Ю.Кузнецов, 4.09.90 г.» - так Учитель «подкалывает» меня, намекая на мое, и вправду, крайне недостаточное знание мировой литературы.

В конце ноября 1990 года Юрий Поликарпович приезжает ко мне в гости: он задумал купить дачу и просит меня подобрать на Ярославщине домик. Я нахожу где-то в Некрасовском районе домишку, подходящую по цене, он приезжает, смотрит... а потом категорично говорит о требующей ремонта избе:

- Нет, не подниму!

Ночует в этот день он у меня дома; это - первый и последний его визит ко мне. Меня поражает его вид: он сильно похудел и уже не так могуч, как прежде.

Пить он, однако, не бросает - и мы пьем и у меня дома, и в электричке, по пути в райцентр... помню, что в вагоне мне становится плохо и я долго стою в холодном тамбуре, приходя в себя; он же тем временем читает мою новую книжку, изданную, по новой моде, за свой счет. Когда я возвращаюсь, он признается, что над одним стихотворением даже всплакнул - и я с тех пор, читая или показывая кому-то свои «Ладони», не устаю хвастливо повторять: «Над этим стихотворением плакал Юрий Кузнецов!»

Вскоре в моей судьбе начинаются перемены. Из газеты я, как и намеревался, ухожу - почти в никуда, с временным маленьким «приварком» в виде зарплаты заведующего литературным отделом этой же редакции. Параллельно создаю первое в своей жизни предприятие. «Проев» за год вместе с коллективом из трех человек приличную сумму денег, данную мне «на развитие», создаю еще одну фирму, беру кредит в банке, покупаю бумагу, размещаю заказы в типографиях, покупаю грузовик... в общем, всячески пытаюсь стать предпринимателем. Результат печален - предприниматель из меня никакой, я бьюсь, как рыба об лед и с каждым месяцем беднею.

В стране свирепствуют «рынок» и «демократия», каждый выживает, как умеет; особенно интересны метаморфозы, происходящие с «комсомольцами». Мой бывший начальник из ЦК ВЛКСМ редактирует порнографическую газету; бывший секретарь нашего обкома комсомола становится важным лицом в губернии и, по слухам, тут же дает крупный валютный кредит известному городскому фарцовщику, почему-то поставленному накануне моего ухода из редакции на должность заведующего отделом пропаганды обкома ВЛКСМ. Другой бывший секретарь обкома ВЛКСМ торгует крупными партиями разного товара и, между прочим, «подводит под монастырь» поручившуюся за него свою приятельницу, тоже бывшую комсомольскую функционерку. Та не платит требуемых денег - и бандиты бросают в окно ее квартиры гранату... все в квартире разносит в клочья. Еще один бывший «комсомолец», инструктор нашего обкома ВЛКСМ, чеченец по национальности, закачивает из ухтинской скважины на наш нефтеперерабатывающий завод на 18 миллиардов нефти и, получив от этой сделки свои десять процентов, собирается покупать себе «пятисотый» мерседес... но вскоре, взорванный зарядом пластита, гибнет в лифте вместе с приятелем.

Мне, такому же бывшему «комсомольцу», члену бюро обкома ВЛКСМ, бросившему журналистику ради литературы, очень скоро становится ясно, что я совершил ошибку. Поэтам при новом режиме живется, пожалуй, тяжелее всего, ведь они умеют делать хорошо только одно - профессионально работать со словом... но это уже никому не нужно. От Вити Лапшина идут просьбы «помочь с табачком» (почему-то он думает, что в Ярославле с этим проще, чем в Галиче); ярославские литераторы стонут и ропщут на жизнь; некогда веселый и шумный домик писателей на улице Терешковой наполняется почти гробовой тишиной.

Я продолжаю пописывать стихи, хотя в них преобладает лишь озлобленность и отчаяние; к Учителю уже не езжу и ничего о его жизни не знаю. И все-таки встреча между нами происходит... но какая!.. через два года на одном из столичных рынков, где мы с напарником торгуем розничным товаром, я издали замечаю мощную фигуру Юрия Поликарповича - одетый в свой длинный, черный кожаный плащ, он мрачно идет между рядами, медленно приближаясь ко мне...и я не выдерживаю! Я сбегаяю, покидаю свое место в торговом ряду. Я не хочу, чтобы Учитель видел меня торговцем!

Несколько раз он снится мне - и все время либо как-то очень странно, либо при странных обстоятельствах... В середине ноября 1993 года, кое-как заклеив дырку на подошве сапога своей жены (мы уже обеднели настолько, что у меня нет денег на покупку ей новой зимней обуви), я около двух часов ночи ложусь спать... вижу себя в гостях у Юрия Поликарповича: в ожидании близящейся выпивки сижу на кухне, Батима хозяйничает.

- Ну, как вы живете? - вежливо интересуется она.

- Да так... - машу я рукой, - на выживание...

И тут меня будит реальный звонок в дверь: на пороге стоит мой знакомый, полусумасшедший местный стихотворец, бывший ранее пару раз у меня в гостях. Он весь трясется:

- А я к тебе! Понимаешь, очнулся в сугробе... надо похмелиться...

- Да ты что, Серега! - шепотом ору я. - У меня спят все! Ночь на дворе! Какие еще опохмелки!

Тот делает изумленные глаза и, извинившись, ретируется; а я, тихонько матерясь от возмущения, вдруг бросаю взгляд на часы - они показывают совсем не ночное время, а семь утра. «Кто это приходил?... Серега ли? - вдруг приходит мне в голову мистическая мысль. - Может, это была проверка? И я ее не выдержал... прогнал посланца...»

В самом конце года в жизни моей все волшебным образом меняется. Оставив мелкий бизнес, я устраиваюсь в мэрию, становлюсь чиновником и начинаю получать твердую зарплату, на которую могу вполне сносно существовать; кошмарный призрак бедности разжимает свои костлявые пальцы, уже почти сомкнувшиеся на моем горле. На радостях я обзваниваю друзей-приятелей, поздравляя их с новым, 1994-м годом. Звоню и Ю.К. (пожалуй, впервые за три последних года).

- Здравствуйте, Юрий Поликарпович! Это Евгений Чеканов, Ярославль. С Новым годом вас!

- А, ты еще жив...

Голос Учителя мрачен, к разговору Ю.К. явно не расположен. Но я все же продолжаю:

- Жив еще... Самого доброго хочу вам пожелать, а главное - здоровья...

- Ну, ладно, привет... - говорит он, явно заканчивая разговор.

- Пока... - упавшим голосом говорю я.

Похоже, Ю.К. обижен на меня... что ж, он где-то и прав - я пропал из поля его зрения на огромный срок. Но со своей натурой я все равно ничего поделать не могу: когда жизнь меня прижимает, я предпочитаю не «светиться», на свет Божий вылезая, только будучи «в добром здравии».

Проходят еще почти полтора года; я тружусь пресс-секретарем областной думы, редактирую созданный мною же думский журнал. Бедность давно позади, я зарабатываю достаточно, чтобы прокормить семью; стихи помаленьку пишутся.

В апреле 1995 года еду по делам в Москву и впервые за последние четыре с половиной года решаюсь показаться на глаза Учителю. Вот запись об этом.

13.04.95.

Позавчера был в Москве, занес стихи в «Наш современник» и «Литературную Россию», побывал на парламентских слушаниях (слушал стенания районных газетчиков об их проблемах), пил водку с Димкой из Костромы, бывшим редактором тамошней «молодежки». Потом поехал к Ю.К.

Юрий Поликарпович обеднел: получает тысяч 200 в «Современном писателе» и еще 400 тысяч в Литературном институте; Батима - 200 тысяч. По московским меркам, они - нищие.

Батима встретила меня фразой:

- Надо было ту домушку покупать!

Я ей поддакнул. Но Поликарпыч непреклонно заявил:

- Нет! Мне ее было не поднять!

Покурили, побежали за выпивкой на улицу. Ю.К. стал очень осторожен в выборе напитков: подойдя к двум киоскам, внимательно осмотрел ассортимент - и отверг все, и лишь в третьем велел мне брать «Белый аист».

- Остальное - отравла!..

Выпили и, как всегда, заспорили - о выборе жизненного пути, о детях.

- Юрий Поликарпович, семья ваша бедствует, у Батимы зубов нет...судьба детей ваших непонятна... Так что главное - поэзия? Или, все-таки, как Розанов говорил, наши дети, «с их темным и милым будущим»?

- Поэзия!

- А как же дети?

Он (в страшном гневе, выпучив глаза):

- Да что ты говоришь? Что ты говоришь?!..

Узнал новости. Все московские русофилы в страшной нищете, один Куняев держится. Куча всяческих русофильских начинаний развалилась.

Я смотрел на него и вслух сокрушался: ну, как же так? Пускай «за взгляды» его никуда не берут на жалованье, но неужели в столице нет ни одной семьи из «новых русских», которая, например, взялась бы платить великому поэту...ну, хотя бы за «национальное воспитание» их детей?

Ю.К.:

- Нет! Зачем им это?

И с улыбкой горечи добавил:

- Вот так, бодрячок...

- Это я к вам приехал бодрячком! - сказал я с обидой. - А все эти годы я жил плохо...

Обменялись мнениями по поводу «политических стихов». Я сказал, что в такое время, какое мы сейчас переживаем, почти невозможно удержаться от сочинения всякого рода гневных инвектив в адрес власти, не загубить поэзию политикой. Он горячо меня поддержал, сказал, что политика просто съела в последнее время многие русские таланты, но что сам он, однако, смог «удержаться», остался художником.

Общее впечатление: стал проще. Осталось то, что и было вначале - хороший мужик, талантище, отец семейства. Старшая дочь работает бухгалтером, получает 150-200 тысяч. Младшенькая оформилась в хорошенькую полуказашку: фигурка, ножки, глазки...

Вскоре в моей судьбе происходят новые изменения: оставив чиновную карьеру, я решаю вернуться в провинциальную журналистику, участвую в конкурсе на должность главного редактора вновь создаваемой областной газеты - и легко выигрываю. Наступают горячие денечки: нужно поставить газету на ноги. Начинать приходится буквально с нуля, но опыт издательской и редакторской деятельности не проходит даром: я быстро набираю коллектив и новая газета начинает с августа того же года регулярно выходить в свет. Накануне нового, 1996 года я звоню Учителю и поздравляю его с наступающим праздником.

Ю.К.:

- Ну, как ты там?

- Да так... Снова вернулся в газету...

- Ну, держись!

Я кладу трубку, вполне удовлетворенный: помнит, старый черт! И погружаюсь в размышления... да, ничего нельзя отринуть в жизни, ни старую любовь, ни старую вражду - все остается с нами.

В новой должности я вынужден проявлять себя, прежде всего, как коммерческий директор - покупаю бумагу, нахожу оптимальные варианты размещения заказов, много времени посвящаю работе с типографией и почтовиками. Газета выходит в свет

ежедневно, поэтому времени на стихи остается совсем мало... но все же кое-что мне удается сочинить и в эти месяцы.

11 февраля 1996 года Ю.К. исполняется 55 лет; накануне я публикую в редактируемой мною газете полосу его стихов, с портретом и редакционной врезкой. Во врезке пишу то, что думаю:

«Юрий Кузнецов - живой классик русской литературы. Это ясно не только его поклонникам, но и врагам (по крайней мере, тем из них, кто не утратил литературного вкуса и способности адекватно оценивать действительность). Над бездной современного виршеплетства, над буграми и высотками отечественной поэзии его имя высится и сверкает подобно вершине Эвереста.

Завтра Юрию Поликарповичу исполняется 55 лет. Поздравляя своего дорогого учителя с юбилеем, я хочу пожелать ему добра и ясного неба, радости и удачи в нашем мире, ставшем в последние годы куда более опасным, чем прежде. А еще - терпения и веры. И, конечно же, новых прекрасных стихотворений.

Евгений Чеканов».

Несколько экземпляров этого номера я посылаю Учителю на его домашний адрес: а вдруг ему будет приятно, хоть он, вроде бы, и презирает газеты...

Осенью, как раз в день своего рождения, попадаю в Москву и заезжаю к Ю. К.; на память об этой встрече у меня остается его новая книга с характерным названием «До свиданья! Встретимся в тюрьме» и дарственной надписью: «Евгению Чеканову в день его 41-летия с пожеланием удач. Ю. Кузнецов, 19 сентября 96 г.». В этой книге есть и «Афганская змея», написанная на подаренный мною сюжет: я с удивлением вижу, что Ю.К. практически ничего не изменил в моем рассказе.

- Концовку только... - говорит он, слегка шевеля в воздухе пальцами, - но это... так...

- А почему солдат у вас присел? Я вам этого не рассказывал.

- Я подумал: а как же змея смогла его обвить? И понял: от страха он присел!

В книге, как всегда, множество потрясающих стихотворений - «Цветущий шиповник», «Пульс», «Жена-сомнамбула», «Струна», «Уроки французского»... да всего не перечислить! Стихотворение «Стояние» живо напоминает мне один из наших прошлых разговоров - о стихотворении моей дочери про цаплю...похоже, Юрий Поликарпович ничего не забывает и многое из застольных разговоров использует в качестве материала для стихов.

Он уже не употребляет спиртного и, вследствие этого, выглядит лучше, чем бывало; в кабинете я замечаю новшество: большой портрет его отца в военной форме. Похоже, он уже не так сильно бедствует; да и в семейной жизни у него, кажется, наступил перелом к лучшему... по крайней мере, некоторые из появившихся в печати его стихов, датированные 1994-м годом, ясно говорят мне об этой перемене, о его благодарности по отношению к Батиме, достойно пронесшей по жизни крест, выпавший на ее долю.

В моей же собственной жизни все, как раз наоборот, туманно: употреблять спиртное я тоже прекращаю, зато уж в остальном себе не отказываю. Последующие годы я проживаю очень бурно, волны «рынка» и личной жизни швыряют меня из стороны в сторону, словно щепку, пишу я мало и лишь в 2001-м году удосуживаюсь издать новую, шестую по счету книгу стихотворений «Дождь в империи»; между ней и предыдущей книгой лежат десять лет. Зато следующие два сборника выпускаю в свет быстро, в течение года. У этих книжек ничтожный тираж, распространяются они только в пределах Ярославщины...но я уже давно понял, что это - не главное. Главное - чтобы стихи были написаны.

В новом веке я вновь, мало-помалу, начинаю публиковаться в столице: стихи появляются в журналах, коллективных сборниках. Из присланного мною Юрий Поликарпович, ставший к этому времени заведующим отделом поэзии «Нашего современника», отбирает приличную подборку - и она появляется в последнем номере этого журнала за 2001 год. Через полтора года судьба вновь заносит меня в Москву: я

ношусь с идеей регионального литературного журнала, прошу у Ю.К. стихи. Он отказывает, мотивируя это тем, что все, им написанное, немедленно публикуется в общероссийской прессе - но беседуем мы по-прежнему самым задушевным образом.

Я жалуясь на то, что Василий Белов тоже не захотел дать мне что-нибудь новое и передаю мою с Беловым телефонную беседу.

- Я говорю: Василий Иванович, вы же пишете о Гавриiline сейчас... дайте хоть одну главу! А он: нет, ничего у меня нового нет, Евгений... э-э-э... Феликсович? И так это «Феликсович» произнес... вижу: отчество мое ему кажется весьма подозрительным. Я ему: побойтесь Бога, Василий Иванович, мы же с вами вместе еще пятнадцать лет назад в одном журнале у Викулова печатались! Он опять подозрительным голосом: «Мало ли с кем я знаком...» И сразу начинает про Грешневикова спрашивать. Я говорю: Толя в чистую политику ушел, а я политикой не занимаюсь, мое дело - литература... Он опять: «Не занимаетесь политикой? Нет, нету у меня ничего нового...». Вот так и поболтал с гением русской прозы...

- Ну, - ухмыляется Ю.К. - он уже не от мира сего...

Говорим о журнальной работе. Он сетует на скудость современных поэтических талантов на Руси («есть края и области, где совершенно нечего взять...все выжжено!...»), советует мне завлекать авторов в журнал гонораром («хоть по пять рублей за строчку!»), я оставляю ему новые стихи - и отбываю в Ярославль в полной уверенности, что Учитель мой находится в добром здравии.

И вдруг, как гром с ясного неба, приходит весть: 17 ноября Юрий Кузнецов скончался! Моментально собравшись, еду в Москву и застаю в квартире на Олимпийском проспекте плачущую Батиму и ее племянницу; обе в черных платках. Тело покойного уже увезли в больницу, дочки там же. Весь в слезах, я хожу по кабинету Учителя, по той самой комнате, в которую я с трепетом вошел впервые ровно двадцать лет тому назад. Книжки, книги... И повсюду - его фотографии разных лет. Вот и та, которую когда-то сделал я...

Оказывается, это инфаркт, и уже не первый; о первом он никому не сказал.

- Легко ушел, - утешаю я Батиму. - Хорошие люди уходят без мучений...

- Это его распад Союза подкосил, - плачет она. - Он очень переживал... Как же мы теперь будем жить? Все на Юрке держалось... Женя, садись, супу похлебай.

Племянница приносит тарелку супа, но мне кусок не лезет в горло. Я уезжаю, чтобы приехать через два дня, на похороны. Везу с собой несколько экземпляров газеты с написанным мной некрологом:

«Русская культура в трауре: на 63-м году жизни в Москве после сердечного приступа скончался один из самых глубоких поэтов XX столетия, классик русской национальной литературы, наш современник Юрий Кузнецов. Мастер поэтического слова, въяве изменявший на наших глазах сам процесс развития отечественной литературы, он был и останется знаменем для всех тех, кому дороги Россия, русская культура, русское слово. Скорбя вместе со всеми, кто осиротел в этот горький час, мы вспоминаем сегодня его строки:

Бог свидетель, как шел я при жизни -

Дальше всюду и дальше нигде

По святой и железной отчизне,

По живой да по мертвой воде.

Я нигде не умру после смерти

И кричу, разрывая себя:

- Где ловец, что расставил мне сети?

Я - свобода! Иду на тебя!»

На прощальной панихиде в Центральном Доме литератора меня опять душат слезы. Лицо Учителя спокойно и величаво; лишь иногда (когда кто-то из говорящих над гробом несет уже явную чушь) он, как мне кажется, иронически улыбается. Станислав Куняев

руководит панихидой; выступают Сергей Есин, Феликс Кузнецов, Валентин Распутин... все говорят то, в чем я был убежден еще четверть века тому назад: Кузнецов - русский гений, уровня Александра Блока или выше.

Похоронный автобус везет тело к церкви, что рядом с ЦДЛ; мне доводится вкупе с другими втащить полированный, темно-красный гроб в православный храм; наступает момент прощания. Священник произносит надгробное слово. В руках у двух сотен людей горят восковые свечи; слышно, как в гулкой тишине попискивают мобильные телефоны, такие чужеродные и этому храму, и стихам Ю.К... и я сразу вспоминаю его угрюмо-безнадежные строки о XXI веке:

Зачем мы тащимся-бредом
В тысячелетие другое?
Мы там родного не найдем,
Там все не то, там все чужое...

Еду на кладбище, в Троекурово; оказывается, похоронить Ю.К. поближе и попрестижнее власть не разрешила. Что ж, долг платежом красен: он всю жизнь презирал ее и ни разу, сколько я помню, не сказал о ней доброго слова.

Я бросаю горсть земли на гроб; выпиваю стопку водки за упокой души. Мной почему-то овладевает спокойствие. О чем горевать? Мой Учитель сделал в этой жизни все, что намеревался. Ну, разве что не написал поэму «Вознесение в Рай», последнюю из цикла поэм о Христе. Но главное он сделал - то, о чем мечтал в юности, когда бил кулаком по столу и восклицал: «Я переверну всю эту литературу!»

Может быть, не всю литературу... но русская поэзия теперь никогда не сможет сделать вид, что в ней не было Кузнецова. Правильно сказал кто-то из выступавших над гробом: влияние его теперь будет только нарастать.

На поминках я сижу рядом с Куняевым и Есиным; Станислав Юрьевич говорит, что не доверит отдел поэзии никому, будет сам отбирать стихи. Говорю Есину, что лучший профессиональный анализ поэзии Ю.К. сделал, на мой взгляд, Кирилл Анкудинов из Майкопа... оказывается, он даже не слышал этого имени. Пьяненький Олег Кочетков почти срывается на истерику, Евгений Рейн сидит молча. Включают пленку с записью голоса покойного - и спокойный, торжественный голос моего Учителя плывет над залом:

Мы темные люди, но с чистой душой.
Мы сверху упали вечерней росой.
Мы жили во тьме при мерцающих звездах,
Собой освежая и землю, и воздух.
А утром легчайшая смерть наступала,
Душа, как роса, в небеса улетала.
Мы все исчезали в сияющей тверди,
Где свет до рожденья и свет после смерти.

История моих встреч с Юрием Кузнецовым на этом, однако, не заканчивается, а продолжается самым мистическим образом. 29 декабря, в канун нового, 2004-го года я сижу у себя дома, за компьютером - и вдруг чувствую совершенно непреодолимый позыв ко сну. Веки мои слипаются, я ложусь в постель и тут же засыпаю. Через три часа меня будит телефонный звонок.

- Женя! Это вы? Это Батима Кузнецова. Знаете, мне Юра приснился. Сказал: «Позвони Че...», а дальше я не расслышала. Стала перебирать, кого я знаю на «Че...», только двоих и вспомнила - с одним в школе в Казахстане училась, но тут явно не о нем речь... Я думаю, что это о вас. Я вам уже много раз звонила, но у вас все короткие гудки...

- Это так модем отвечает, я часто в Интернете сижу, - говорю я, совершенно оглушенный этим звонком. - Батима, но это же чистая мистика! Вы знаете, я только сегодня закончил писать воспоминания о Юрии Поликарповиче... а тут вы звоните... Это

что ж получается? Получается, что он оттуда контролирует процессы, идущие здесь! Батима, это мне знак: я должен показать вам эти воспоминания...

- Ну, хорошо, присылайте, - говорит она. - У Кати есть электронный адрес, сейчас она вам продиктует...

Мы болтаем еще минут двадцать. Она спрашивает моего совета о том, публиковать ли ей куски «Рая», расспрашивает о бывшем на поминках писателе N... к сожалению, я уже так далек от столичных разборок, что ничего вразумительного сказать не могу.

Повспоминав покойного, мы заканчиваем разговор. Холодок потустороннего присутствия лижет мне затылок, я никак не могу придти в себя. Значит, Учитель прочел то, что я написал - и решил, что написанное может при публикации как-то повредить его семье... или мне? Тогда нужно немедленно отослать эти материалы вдове!

13 января вновь звонок Батимы, она прочла мои записки.

- Женя, вот об этом можно публиковать только лет через двадцать... а об этом - года через два-три хотя бы...Если вы сейчас это опубликуете, нам тут будет не выжить... И про этого не надо сейчас писать! Ну его...

- Ваше слово для меня - закон, - говорю я ошарашенно. - Вообще-то я уже и так многое убрал, об очень многом не написал, что знаю... Хорошо, я все уберу, что вы сочтете нужным...

- Через двадцать лет опубликуете! А сейчас не надо... ладно?

- Конечно-конечно, - успокаиваю я ее. - Вы порежьте, что сочтете нужным... и сбросьте мне на электронный адрес ваш вариант...

Разговор заканчивается. Но еще долгое время спустя я мысленно возвращаюсь к этой ситуации, думаю о том, что случилось.

«Вы попали в поле притяжения мощной звезды... как бы вам от меня избавиться?» - эти слова Юрий Поликарпович произнес два десятилетия тому назад. И они верны до сих пор. Звезда по имени «Юрий Кузнецов» продолжает излучать в пространство мощные гипнотические волны, светя мне и после смерти. Прах физического тела моего Учителя истлевает на Троекуровском кладбище, но дух его неуничтожим и духовная длань его так же сильна, как и четверть века тому назад.

«Что это было в моей жизни?» - шепчу я, сидя в своем Ярославле за письменным столом. - С кем я был знаком? Кто это был? Он читает то, что я написал... он читает самого меня, Господи!..»

январь 2004 г., Ярославль.

ОПЫТЫ



Евгений Капитанов

Присуты гениальности

* * *

Все появилось... Цены подросли...
И выяснилось: нам немного нужно!

* * *

Народ переродился в средний класс.
А «низ» и «верх» - бомжи и олигархи.

* * *

Лишь наш двуглавый гербовый орел
способен гнаться и за парой зайцев!

* * *

Зачем нас из болота извлекать?
Мы и умеем-то - барахтаться и квакать!

* * *

Наук, казалось бы, полно,
а люди все химичат и химичат!

* * *

Вначале было «кое-где», «порой»...
Теперь же день за днем и повсеместно!

* * *

Все в человеке быть должно прекрасно -
от шерсти на ушах до кончика хвоста!

* * *

Мы крыльям предпочли окорочка.

Биография Е.М.Капитанова опубликована в № 2 за 2003 г.

© Евгений Капитанов, 2004.

* * *

Стыд потеряли, совесть потеряли...
И хоть бы кто отправился искать!

* * *

А потом выяснится,
что и мы жили в средние века...

* * *

Все мы - потомки Ноя. Ноем и ноем.

* * *

Жизнь большинства - лишь очередь за пенсией!

* * *

С одной стороны окна прорубали,
с другой - заколачивали досками.

* * *

Желая достоверно видеть мир,
приобретайте спецаппаратуру.

* * *

Степь да степь... Кому какое дело,
что когда-то здесь тайга шумела.

* * *

Как хороши, как свежи были розы...
Но цены их разили наповал.

* * *

Трех богатырей принимали то за трех поросят,
то за трехглавого Змея Горыныча...
В зависимости от выпитого.

* * *

Лекарством от возвышенной любви
приму сегодня женщину попроще...

* * *

Красиво говорит - боюсь, что импотент!

* * *

Узнаю я их по голосам...
Ведь фигуры очень изменились.

* * *

Чтобы поза превратилась в позицию,
нужно хорошенько окопаться.

* * *

Жизнь - почта: послал - получил!

* * *

Откуда же ей знать, что это - порно?
Ведь режиссер сказал, что реализм...

* * *

Они уже решили: я - такой.
А я за это время изменился!

* * *

Гроссмейстер дал мне фору. Я не взял.
Посмотрим, что теперь он будет делать!

* * *

Вы - соль земли! Зачем вам вобла к пиву?

* * *

Хотел забыть, но память не дала...
Я это, мерзкая, тебе потом припомню!

* * *

Долго шлифует дурака жизненный прибор,
прежде чем он станет круглым.

* * *

Один дурак задаст вопрос - семеро умных не ответят.
А другой дурак ответит запросто!

* * *

Упал с восьмого этажа - ни одной царапины!
Ночь в сугробе пролежал - и ничего!
И еще говорят - не пей?

* * *

В Ярославле две горы. Одна из них липовая.

* * *

Пока накроешь стол, устанешь от открытий.

* * *

Давай попробуем начать все не с конца...

* * *

...и сразу начинай любить!
Второго взгляда можешь не дожидаться.

* * *

Подайте мне на пиво - и свободны!

* * *

Отсутствие денег не освобождает
от необходимости выпить.

* * *

Кто так задорно, громко лает?
Да оборзевшие щенки!

* * *

Вот «черный пояс» пусть и возразит,
а мне гулять приятно и без гипса.

* * *

Устал стучаться в стену головой?
Поплюй для отдыха немного против ветра!

* * *

Жизнь угощает? Попроси добавки!
Поскромничаешь - все отдаст другим.